

ИВАН ЗОРИН

**Гений
вчерашнего
дня**

Рассказы



Москва

Частное издательство

«Золотое сечение»

2010

УДК 821.161.1-32
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44
386

Зорин И.

386 Гений вчерашнего дня: Рассказы. — М.: Частное издательство
«Золотое сечение», 2010. — 272 с.

ISBN 978-5-904020-12-5

Размышления о добре и зле, жизни и смерти, человеке и Боге.
Фантазии и реальность, вечные сюжеты в меняющихся декорациях.

УДК 821.161.1-32
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

На обложке: Иероним Босх, «Концерт в яйце», 1490-е годы

ISBN 978-5-904020-12-5

© Зорин Иван, 2010
© Оформление. Частное издательство
«Золотое сечение», 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Один из героев этой книги, перефразируя Евангелие, говорил, что в одиночестве — нет правды, а где двое — там, третьей, истина. И хотя его слова кроме предисловия не нашли отражения в книге, он стал её крёстным отцом.

Я писал эти рассказы в Москве, в четырёх стенах, из которых каждый день выбирал себе нового собеседника. Мой стол уже пух от бумаги, когда однажды, открыв его, чтобы втиснуть очередную пачку, я наткнулся на эти слова. Мнение автора зачастую расходится с мнением персонажей, но тут они совпали. И я, собрав разрозненные страницы в книгу, решил разослать по свету тысячу — таков её тираж — приглашений к диалогу.

АВАТАРА КЛОУНА

О том, что проповедует буддизм, Кирилл Нитудыхата едва ли догадывался. «Смысл жизни не в том, чтобы искать в жизни смысл, — балагурил он, — смысл жизни в том, что в ней нет никакого смысла...» За окном умирал шестнадцатый век, и за такие речи выбирали костёр или виселицу. Но Кириллу сходило с рук. «Чего взять с шу-та...» — усмехались вокруг, шёпотом повторяя его остроты.

Кирилл был карлом — сгорблен, рыжеволос, от земли семи вершков, его тень была всегда у него под руками, и он ловил её, присев на корточки, протянув близко растопырен-ные пальцы. Зато всё остальное делал далеко — плевал, мочился и спускал семя. К тому же был силён — мог на свой рост поднять корову и на четвереньках догнать зайца. За-видев издали его нечёсанные волосы, женщины крестили разинутые рты, и в базарный день он, как прокажённый, отпугивал за версту колокольцами, пришитыми к высокому малиновому колпаку.

Его это не смущало.

«Мне легче сломать хребет, чем характер», — болтая в реке ногами, бахвалился он перед своим отражением.

Раз из реки показался утопленник. Он был чёрен лицом и в зубах держал камышину. «Чтобы под водой дышать», — догадался Кирилл.

— Я — Макар Трупка, — представился покойник, сгребая со лба зелёные водоросли. — Я родился за век до тебя, умер за полстолетия, а переживу на годы...

«Как это?» — подумал Кирилл. И затрещал, как со-рока:

— Будут времена, когда не будет времени, и будет время, когда скажешь: «Были времена...»

Но Макар пропустил мимо ушей.

— А так, — прочитал он Кирилловы мысли. — Дожил я до старости и однажды почувствовал невыносимую вонь. Целый день я принюхивался к вещам и людям, гадая, откуда идёт этот страшный запах? А к вечеру, затворившись в своём углу, понял — несёт от меня! Так пахнет скопившаяся внутри мерзость... — С усов у Макара капало. — А поскреби любого, — стряхнул он капли, — в нём столько же грязи, только и остаётся выплёскивать её наружу, делая мир вокруг ещё пакостнее...

— А церковь? — перебил Кирилл. — Есть же искупление...

— Говорю же, стар стал, а какой старик верит в искупление? Нет, мир можно спасти, только уничтожив своё зловонное «я»! «И Господь принёс Себя в жертву...» — думал я, стоя у Распятия. Правда, в Бога я не верил, и от этого мой подвиг казался мне ещё возвышеннее. И вот однажды собрался я с духом и кинулся в омут. Думал, освобожу мир, а родился водяным дедом, грешу теперь с русалками, и моя прежняя жизнь представляется мне святой...

Макар почесал затылок, пристально взглянув на Кирилла.

— Так что ты не торопись... — ворочал он распухшим языком. И вдруг расхохотался: — Впрочем, тебе это не грозит, ты со страху ещё не раз в штаны наложишь!

Кирилл ударил по воде ногой. Поднимая со дна пузыри, утопленник исчез, а из реки по-прежнему глядело

отражение с камышиной во рту. «Нет ни добра, ни зла, — выплюнул её Кирилл, задрав голову к бескрайнему небу. — Чёрные тучи и белые облака одинаково скрывают солнце, освещающее пустоту...»

Родом Кирилл был с Украины, и фамилией его наградила вислоусый нелюдимый казак, построивший дом крыльцом к Днепру, а к деревне задом. Казака сторонились, а когда, умерев родами, жена оставила ему увечного сына, качали головами: «У тебя всё не туды...» «А у кого туды?» — огрызался он. Но дома срывал злость на Кирилле. Будто исправляя осанку, укладывал его горбом на жёсткий пол или вытаскивал за ухо на улицу. С годами, однако, отец успокоился. «Слава Богу, подслеповат стал — не вижу твоего уродства!» — крестился он вместо иконы на притихшего в темноте сына. А когда Кирилл подрос, отрядил его в скоморохи. «Знать, на роду тебе написано быть посмешищем», — перекрестил он его на дорогу котомкой с солёными сухарями.

«На свете все посмешища», — подумал за околицей Кирилл, вешая котомку на плетень.

И пошёл по хуторам смешить народ. Он стучал в бубен, ходил «колесом» или, надувшись, как бочка, изображал обожравшуюся комарами жабу. Его голос разносился далеко по округе, когда он скакал на палке, хлопая себя по пустому карману: «Одни звенят деньгами, другие — му-дьями!» Иногда его угощали похлёбкой, но чаще — камнями. «В рыжих гнездятся бесы, — ворчали хуторяне, — они могут засмешить до смерти, напустить щекотку и устроить выкидыш».

И только мальчишки, держась за животы, провожали его далеко за деревню.

Мочился Кирилл у обочины, летом, чтобы не прохудились лапти, которые носил за поясом, ходил босым, а зимовал в монастырских богадельнях. Там он целыми

днями надувал пузыри из слюней и хохотал, как ветер на пепелище.

Такие дышат не свободой, а пустотой.

Но когда он снова заглянул в хату, построенную задом наперёд, ему стало не до смеха. Отец встретил его на пороге, привычно взявшись за плеть. «Как страшно видеть на ладони зубы своего отца», — повторял на обратной дороге Кирилл, собирая в горсть пальцы. Он то и дело поправлял на плече котомку, и его губы дрожали. Так он убедился, что родная кровь льётся также легко, как и чужая, что на свете нет ни отцов, ни сыновей.

Князь Анджей Радзивилл ездил быстро, запрягая в карету породистых рысаков. «Чтобы соседи от зависти пухли!» — любил повторять он, крутя пышный ус. Под соседями он имел в виду королей, ближе никого не было — вся земля, сколько хватало глазу, принадлежала Радзивиллу. Раз волки гнали по лесу зайца, и тот, выскочив на дорогу, бросился под лошадиные копыта. Напрасно, отворив дверцу экипажа, кричал князь, напрасно вертелся на козлах испуганный кучер, бросив бесполезные поводья. Лошади летели в облаках пыли, а впереди уже маячил обрыв. И вдруг кто-то — человек ли, собака? — скользя животом по дороге, догнал экипаж и, вцепившись в уздцы, повис на них, как мельничный жернов.

С тех пор князь неотлучно держал спасителя при себе.

«Куда Кирилл, туда и Радзивилл...» — шептались за их спинами, провожая недобрыми, завистливыми взглядами.

Стояла глубокая осень, с утра по стёклам липли замёрзшие мухи, а из щелей тянуло холодом. Князь Анджей ворочался в постели, обернув голову одеялом.

— Нагрей, — указал он подбородком на золочёный камзол.

Кирилл лёг на него животом и, засунув ладони в расшитые бархатом рукава, тихо завыл.

— Не надо мной ли скулишь? — расхохотался князь.

— Помилуй, всего лишь над Создателем...

— А Он-то чем заслужил?

— Да тем, что, сотворив мир для человека, уподобился твоему портному — тот тоже кроил для князя и не подозревал, что на его одеждах развалится урод...

«Чего ещё ждать от обезьяны?» — подумал Радзивилл. Но вслух пригрозил:

— Ох, отрежут тебе язык! Хочешь, зажарим его на завтрак?

— Только вместе с мозгами — без них он не так остёр...

Время в замке тянулось, изрешечённое обедами, отодвигавшими другие события на задворки: желудок не ум — своего требует и всё переварит. Перед обедом, развалившись на оттоманке, Радзивилл выкуривал трубку.

— Нас готовят к миру, слаженному, как часы, — утопая в табачном дыму, вспоминал он академию в Кракове, — а жить приходится на горе, где рак свистнет.

— Учись, не учись, — чесал подбородок Кирилл, — а нельзя знать больше, чем есть. Вот и вся правда...

— Есть, и правда, надо больше! — по-своему понимал князь.

И хлопал в ладоши, чтобы несли кушанья.

Обедал Радзивилл с женой. Пани Ядвига была так красива, что мужчины, глядя на неё, проглатывали языки, а женщины забывали, к какому полу принадлежат. Княгиня руководила переменной блюд и чаще разбивала сердца, чем тарелки.

— Правда, Кирилл, красота для женщины не главное? — надувала она губы, вертясь перед зеркалом.

— Красивые женщины радуют мужской глаз, некрасивые — женский, — скалился Кирилл, выкатывая налитые кровью глаза.

И втайне сох по княгине.

За обедом играли музыку, дворовые девки водили хоровод, а гости звякали ложками.

— Вон в Италии моду взяли человека возвеличивать, — уминал борщ с клёцками проезжий помещик, торопившийся по делам, но торчавший в замке уже неделю. — А что толку? Как был Панас — дурак, так и останется. Привязать к бревну, да выпороть!

— Это легче лёгкого, — подливал «венгерского» радушный хозяин. — А ты смени гнев на милость, подбери к нему ключик.

— Да к Панасу никакая отмычка не подойдёт, — плевал захмелевший помещик, грозя поднятой ложкой. — У него вместо сердца глухая стена, камень без скважины...

Однако Радзивилл подражал итальянцам: разбивал сады, заказывал нагих богов из бронзы, а из столицы пригласил старенького, глуховатого учителя. Но холопы только чесали затылки, и единственным учеником у пропахшего чесноком учителя стал Кирилл. Он складывал буквы псалтыри, вечерами, при тонкой, чадившей лучине, водил корявым пальцем по засаленным листам.

— Отец главнее Сына, — ошарашил он как-то учителя.

— Это почему? — покосился тот на дверь.

— У отца может быть много сыновей, а отец у сына только один. Вот и получилось, что Отец заварил кашу — Сыну расхлёбывать...

Учитель покрутил у виска:

— Да у тебя всё ли в порядке с головой?

— С головой всё в порядке только у памятника, — кивнул Кирилл на бронзовые статуи в саду. — И то вон птицы нагадили...

Учитель приставил к уху растопыренную ладонь. И Кирилл понял, что он притворяется.

«Человеку от грамоты никакой пользы», — затворил он дверь. И ошибся — ему вслед полетел донос.

— Значит, Отец Небесный заварил кашу, а нам расхлёбывать? — комкал бумагу Радзивилл. И со смехом разорвал. — Ох, отрежут тебе язык, ох, отрежут!

Князь был молод, хорош собой, и ему хотелось заслужить доброе имя. Он охотно давал займы, часто прощая должников, и половина деревни были его крестники.

Однако чем лучше он относился к крестьянам, тем больше у него воровали.

— Эх, Кирилл, — вздыхал он, выгибая ладони, так что пальцы хрустели под его слова, — отчего так, какое дело ни начни, везде проглядывает изнанка, везде червоточина...

— На каждый лист — свой глист, — зубоскалил Кирилл. — А всё оттого, что жизнь не нами устроена, течёт сама по себе...

И принохивался, как зверь, к повисшей тишине.

— А течёт она за семь морей, за восемь болот. Люди хотят её исправить, а получают пять локтей на погосте...

— Ты — меньше! — скривился князь.

Шли годы. Кирилл теперь всё реже вспоминал, как строил рожи пролетающим мимо галкам, как, светя, словно подсолнух в поле, огненной шевелюрой, кланялся дороге. Виски ему уже забивала седина, и он теперь думал, что не только он, но и все люди дышат не свободой, а пустотой.

Случалось, он ещё перекрикивал по утрам петухов, но замок покидал редко — деревенские по-прежнему обходили его за версту, а на каждом дворе его встречал ушат помоев.

Как-то ранней весной в местечко прибыл с сестрой молодой ксендз. Это было его первое назначение, и святой

отец волновался. С прихожанами он держался строго, был говорлив, и ему казалось, что он спрячет румяное, мальчишеское лицо под монашеским капюшоном. Исповедь проходила торжественно, а когда очередь дошла до Кирилла, священник поднял широкий рукав, из которого, как из чёрной дыры, проступила темнота.

— Сын мой, — уставился он блеклыми, водянистыми глазами, — Господь в неизреченной мудрости обделил тебя наружностью. Известно ведь, что для убогого жизненная дорога тяжела, зато путь в рай короче... Так возлюби же ближнего, как самого себя!

И выпустив толстую, золотую цепь, протянул для поцелуя нагрудный крест.

— А если я себя не люблю? — приподнявшись на цыпочках, отстранил золото Кирилл.

Рукава разлетелись, как птичьи крылья. Опустив глаза, ксендз перебирал в уме ответы, которым его учили в семинарии. Но подходящего не находил. Тогда, возвысив голос, он прочитал «Отче наш», покосившись на урода, заговорил о первородном грехе.

— Вот ты умный, а с женщиной ругаешься, когда у неё в руках кипятки, — перебил его Кирилл, дёргая за рясу. — Лучше послушай, как в старину вёл двух мудрецов мальчик-пастушок. Та дорога вела к Богу, они шли, не останавливаясь, как вдруг увидели медвежьи кости и шкуру. «Я могу нарастить эти кости плотью», — похвалился первый мудрец. «А я могу обернуть их шкурой и оживить», — не уступил ему второй. Тогда пастушок быстро залез на дерево и смотрел, как оживший медведь пожирает мудрецов...

Ксендз пожал плечами. Обратной дорогой он всё ломал голову над кирилловой притчей. А за ужином у него вырвалось неосторожное слово, и сестра облила его тарелкой горячего супа.

Кириллу грозило отлучение, но его опять покрыл Радзивилл.

Зимой в деревню часто забегали волки — голод гнал их под мужицкие оглобли. Их замечали, как прошлогодний снег. Но этот был страшный. Он кидался по сторонам, резал на ходу кур, и с клыков у него капала пена. За забором надрывно лаяли псы, мужики выходили с кольями, но, увидев серую морду, закрывали ворота.

Пани Ядвига правила санями, смеясь над пристроившимся на полозьях шутом. Кирилл был в ударе, передразнивал молодого ксендза, отвернувшись к сугробам, свистел соловьём, предлагая отыскать эту птицу на обледенелых ветках. Так, под соловьиный свист, сани и выскочили на ощерившуюся пасть. Но пани Ядвига не успела испугаться. Она лишь подумала, что кровь на снегу горит одинаково ярко — и звериная, и человеческая.

Задушенный волк казался теперь облезлым, жалким. Он лежал, разбросав бессильные лапы, с клочьями свалявшейся по бокам шерсти.

«Так и люди, — глядел на его выпирающие рёбра Кирилл. — Кусаются от того, что несчастны...»

В ту ночь он увидел во сне икону.

— Готов ли ты пострадать, как Мой Сын? — спросила Богородица, над которой струился чудный свет.

— Мы все Твои дети, Мать, — ответил Кирилл, — все страдаем...

На иконе Пречистая Дева изображалась по диагонали, из левого угла в правый, а сбоку над ней парила крохотная фигурка взрослого Христа. Сын Человеческий горбился на пустой дороге, вдоль которой тихо дрожали кусты. Присмотревшись, Кирилл разглядел у Христа посох, котомку, лапти за поясом.

И вдруг с ужасом узнал себя!

Проснулся он в жару. Над ним сверзились княжеские лекари.

— Волк-то, видать, был бешеный, — ставил один пиявки.

— Больше суток не протянет, — прикладывал лёд другой.

Они хлопотали у постели, будто кухарки над стряпнёй.

— С вами не заживёшься, — попробовал зубоскалить Кирилл.

И, собрав последние силы, топнул ногой.

Однако с ним творилось странное. Он больше не завидовал князю, не хотел иметь красавицу-жену, он хотел одного — не рождаться больше в этом холодном, бессмысленном мире. Он вдруг увидел всё происходившее с ним, но вместе с тем и всё происходившее с остальными людьми, увидел в каком-то непривычно искажённом, но именно поэтому истинном свете. Он увидел, что и все люди горбаты, только не так сильны, как он. И от этого ещё несчастнее. И Кирилл полюбил людей. Он полюбил своего вислоусого, угрюмого отца, вынырнувшего из реки утопленника, озлобленных от чёрной работы, ненавидевших его крестьян, полюбил Анджея Радзивилла, строчившего доносы учителя и молодого ксендза, читавшего ему проповедь, которую сам не понимал. Кирилл не заставлял себя любить их, не твердил, что надо возлюбить ближнего, как самого себя. Просто он вдруг понял, что разделяет общую с ними судьбу, увидел единый для всех ход вещей, которые век за веком идут по кругу, запущенные неведомой рукой. А ещё он понял, что мир находится внутри него. И тогда подумал: «Я — Бог, я могу творить кошмар, а могу счастье...»

От причастия Кирилл отказался.

Его тело зарыли в лесу.

А через полгода овдовел Радзивил — пани Ядвига умерла от родов. Ходили слухи, что она носила ребёнка

Кирилла. Сын у неё родился рыжим, с зубом во рту, он угрюмо поглядывал на няnek, стараясь выбраться из пелёнок. «Проклятое семя, — шипели деревенские, вспоминая, что и Кирилл рождением убил мать. — Небось, лижет теперь у чертей раскалённые сковороды!»

«Хорошо, что все умрут...» — думал князь, когда до него доходили эти сплетни.

Радзивилл осунулся, постарел. За одинокими обедами он по-прежнему слушал музыку, которая звучала для него реквиемом. «Человеку легче исправить позвоночник, чем характер», — кряхтел он, согнутый радикулитом, и не верил больше в людей. Деревенских теперь всё чаще секли, распластав на деревянном «козле», а должников сажали в глубокую сырую яму.

Но это не помогло, с годами двор обнищал, так что княжескому наследнику пришлось, взяв котомку, идти по хуторам смешить народ...

РЕЖИССЁР

*И у тебя, Господи, милость; ибо
Ты воздаёшь каждому по делам его.*
Пс. 61; 13.

Часы в метро тускло высвечивали половину второго ночи. Похожий на гнома пассажир, в длинном, грязном плаще, сошёл с эскалатора. Скользнув взглядом по спине одинокого парня на опустевшем перроне, поздний пассажир отвернулся. А когда парень упёр ему в затылок пистолет, не вздрогнул, только крепче сжав торчащую из кармана газету.

Бомж спал, сложив ладони под щекой. Скамейка была короткой, и с неё, будто с гвоздя, свисали его стоптанные ботинки. Не отрывая дула от напрягшейся мускулистой шеи, парень подвёл мужчину к бомжу и рукояткой вперёд просунул ему подмышку другой пистолет. Когда оружие взяли, парень открыл рот, собираясь что-то сказать, но человек в грязном плаще опередил его.

«С удовольствием, приятель!»

Выпятив крутой подбородок, он прицелился очень сосредоточенно, как злодей в дурном сне.

От бомжа несло водкой, и его храп оборвался выстрелом — по лохмотьям медленно расплылось красное пятно.

Из туннеля потянуло землёй, приближалась электричка.

«Вот и всё», — решил молодой человек, застёгивая «молнию» на куртке.

И ошибся.

Срываясь на визг, мечется на ветру уличный фонарь, выхватывая из темноты снежинки. Прислонившись к окну, мальчик считает их, загибая пальцы.

— Боря, уже поздно, — доносится голос няни. Мальчик поджимает пухлые губы. «Хорошо, что снег, — скребёт он ногтем изморозь, — будет работы дворникам...»

У мальчика холодные, васильковые глаза, ровно подстриженные волосы.

— Боря, опять без тапочек!

Раскинув руки, няня плывёт в сумерках, как привидение. И вдруг спотыкается о протянутую верёвку.

Ангельское лицо мальчика искажает злорадство.

— Гадкий мальчишка! — журит сына Ангелина Францевна, вычёсывая ему упрямые колтуны. — Сейчас же извинись!

— Я пошутил... — шепчет ребёнок, но в его глазах нет сожаления.

Проходит снег, мелькает лето, мальчик вытягивается, идёт в школу, но его по-прежнему мучает ровный голос няни, изрешечённые обедами будни и воскресенья, когда он не знает, куда себя деть.

— Жизнь — пресная штука, — пожалуется он позже бомжу.

— И оч-чень похожа на смерть... — охотно подтвердит тот.

Они делали из людей убийц, превращая их в преступников. «В каждом сидит зверь — только подвернись случай, — оправдывался Борис Бестин, призывая в свидетели бомжа. — Ты же сам видишь, им только шкуру сберечь! Эх, Фёдор Михайлович, какая там, к чёрту, процентщица, они и мать родную!..»

Бомж кривил рот, сворачивая табак козьей ножкой. Собиралась гроза, ветки скребли крышу, и на занавесках уже

плясали уродливые тени. «Пугают Страшным Судом, вечными муками... — разглагольствовал Бестин. — А ты не убий даже безнаказанно, даже, когда страха нет! Вот что такое совесть! — Он плеснул в стакан мутного вина. — Только, сам видишь, нет её и в помине...»

Бомж, пуская клубы дыма, молча кивал. У бездомных своя мораль — пустой желудок совести не переваривает.

«У мира две погонялки, — думал он, — холод и голод...»

Дни проводили в праздности, а вечерами, притворив калитку, шли на дело. В пустеющих залах подземки инсценировали убийство. Играли плохо, но всё сходило с рук. И каждый раз убеждались в человеческой слабости. Проявля изнанку вещей, они толкали на убийство, которому сопротивлялись лишь некоторые.

«Ну!..» — цыкал тогда Бестин, сузив глаза.

И, отводя пугач, пыхал холостым выстрелом.

Стоит ранняя весна. Расцветая подснежниками, школьницы готовят платья для выпускного бала, в классах по стенам прыгают «зайчики», и всё кругом наполнено зовом могучего животного бытия.

— Бестин, приведи пример безличного предложения...

— Скучно на этом свете, господа!

Одни подчинялись с рабским безволием, другие — после короткого бунта, затихая, как ручеёк, попавший в лужу. Их делали палачами, но они ощущали себя жертвами. Под страхом потерять жизнь, их принуждали её отнять. «Он бомж, — оправдывались они, — такие всё равно долго не живут...»

И старались поскорее всё забыть.

Бомжа звали Шамов. Давя под рубашкой пузырёк красных чернил, он чувствовал себя хирургом. «Мы вскрываем

гнойник», — повторял он за Бестиным. А тот куражился. Оставляя пугач, давал возможность раскусить игру. Он называл это «соблюсти приличия». Но игрушка жгла, точно жаба за воротником, и «убийцы» старались выбросить её в первую же канаву.

И никто не заявил на себя.

— Бестин, почему сорвал урок?

Лысоватый директор ковыряет в ухе мизинцем.

— Не я один...

— Нехорошо, Бестин, был заводилой, а теперь в кусты.

Подросток краснеет, угрюмо кусая заусенцы. Но у директора много ключей.

— Я понимаю, школа — не сахар, — заходит он с другого конца. — Однако ж, образование...

Вынув из уха, он задирает вверх палец.

— А что образование, — раскрывается подросток, — только изуродует...

У него ломается голос, из рукавов торчат худые кисти.

— Надо же, — всплеснул руками директор, — он уже всё знает! Пойми, впереди у тебя сложный мир...

От смущения он не нашёл ничего лучшего.

— Мир прост, — обрезал подросток, — когда одному лучше, другому хуже!

И вдруг, болезненно морщась, признаётся, как раздражает его щенячья радость сверстников, их наивная, бездумная жизнь. Он был другой и чувствовал это. Возвышая голос, он заговорил о мировой несправедливости, которую ощущает кожей, о том, что не представляет, зачем жить.

Директору стало не по себе.

— Не делай из болезни философию! — взвизгнул он.

— Для вас философия — всегда болезнь! — огрызнулся подросток.

И опять Ангелина Францевна ласково шептала: «Ах, проказник...»

Первый блин вышел комом.

Весь день лил дождь, и к ночи вода бурлила возле водостоков. Город обезлюдел, на автобусной остановке, притворяясь спящим, лежал на скамейке Шамов. Бестин караулил по соседству, когда из темноты вынырнула худая фигура с поднятым воротником. Мужчина лет сорока стряхивал зонт о колено, едва не задевая остриём асфальт. Капли летели Шамову в лицо, но он терпел. Складывая негнущиеся спицы, мужчина тихо выругался. А через мгновение к нему прилип Бестин, упирая пугач под воротник. «Стой, как стоишь...» — зашептал он. Но не рассчитал, наклонился над самым ухом, и человек инстинктивно отпрянул. У Бестина взмокла спина. Протягивая второй пистолет, он увидел себя со стороны: жалким, ничтожным. И от этого заскрежетал зубами, впадая в ярость. «Застрели, застрели его!» — истерично закричал он. Мужчина, сухой, костистый, съёжился, как платье, соскользнувшее с вешалки. Оружие в его руке болталось посторонним предметом, он испуганно моргал, уставившись на блестящую «молнией» куртку. Бестин дёрнул шеей, направляя пугач ему в грудь. И тогда он, точно слепой, ткнул дулом в Шамова...

Когда его впихивали в автобус, у него выпал бумажник.

Фамилия мужчины была Рябухин, на тиснёной визитке значился его адрес.

В университете Бестину прощали все сумасбродства. Учёба давалась ему легко, чего другие добивались упорством, он схватывал на лету. Манеры, голос, привычка хорошо одеваться — всё выделяло его. В компаниях он верховодил, однако сокурсники его не любили, чувствуя в нём скрытое превосходство. Гордился Бестин и своим

происхождением, его дед и отец были профессорами. После смерти отца сослуживцы часто навещали вдову, толпились в прихожей, обещая помощь. Однако их участие этим и ограничивалось. Борис их ненавидел, он запирался у себя комнате, заставляя Ангелину Францевну краснеть.

Внешне Бестин казался весёлым, но внутри у него была пустыня. Ему чудилось, что он видит мир насквозь, и ему было невыносимо скучно. Иногда он думал, что живёт задом наперёд, проводя время в воспоминаниях, иногда, что родился стариком, и вместо того, чтобы проживать жизнь, он её доживает.

Как-то он открылся однокурснице. Зина была миловидна, застенчива и тайно влюблена в Бестина, который представлялся ей необыкновенным. Они шли по морозной улице, под ногами хрустел снег, и птицы клевали на ветках рдевшую рябину. «Да как же можно скучать! — встрепенулась Зина, перебирая костяшки на пальцах. — Ведь от смерти нас отделяет тонюсенькая льдинка, каждый час, каждую секунду она может подломиться... А боль? Да ведь за каждым углом караулит! — Она вынула из сумочки зеркало, поправила шляпку. — Смотри, как уши покраснели — отморозила... — Тыльной стороной ладони она стала отчаянно растирать мочки, зеркало запрыгало. — А скука — это что-то основательное, от комфорта...»

Эти слова странно запали Бестину. С тех пор он стал искать риска.

Его выходы отличались жестокостью. «Хомо хоминем люпус эст, — оседлав стул, передразнивал он на вечеринках университетских профессоров. — Недаром нам в детстве пели... — тут он доставал спрятанное в рукаве пенсне и тянул в нос, — при-идёт се-еренький волчо-ок и уку-усит за бо-очок... — Он отчаянно паясничал, прыгая со стулом. — А раз кругом звери, держи ухо востро,

а вместо поцелуя жди укуса... — Гвалт, хохот! Сгрудившись вокруг, слушали, к чему он подведёт. — И молодёжь должна учиться кусаться... — Кривляясь, Бестин вскакивал на стул, звенел вилкой о бокал. — С этой минуты каждый может зубами вцепиться мне в ухо... Но если промахнётся — подставит своё!»

Некоторые соглашались — и проигрывали.

Скука — это гидра, у которой растут двадцать четыре головы. Бестин рубил их, проводя дни за картами, в казино, заводя бесчисленные романы, но с каждым часом головы вырастали опять, обжигая бесцельностью маеты.

И у него опускались руки.

А юность проходила, оставляя на душе щемящую пустоту. Учёбу он совершенно забросил, и к четвёртому курсу его отчислили.

«Вы талантливый человек, Бестин... Вам работать надо, а вы чёрт знает кого из себя строите...»

Но теперь он скалился, представляя, какими жалкими сделались бы преподаватели, пропусти он их через мясорубку своего эксперимента.

Ангелина Францевна обивала пороги, напоминая о заслугах мужа, по-старушечьи плакала. Ждавший за дверью Борис, встречая её, притворно опускал глаза.

С отчаяния мать предлагала жениться.

«А хоть бы и на Верижной, — это была фамилия Зины, — буду внуков нянчить...»

Начались скандалы, и Бестин съехал на дачу.

С Шамовым его свёл случай. Он провожал Зину, уезжавшую на лето. На вокзале пахло тепловозной смазкой, сновали носильщики. Бестин прокладывал путь, петляя между чемоданами, орущими детьми и тележками с кладью.

«Муравьи!» — шипел он, и его презрение доходило до ненависти.

Вдруг Зина тихонько вскрикнула. Мордатый бомж, вырвав у неё сумочку, замелькал в толпе. Бестин метнулся следом. Глохнув от женского визга, они размазывали по асфальту плевки, опрокинув урну, барахтались среди окурков. Когда их растащили, Бестин стоял разгорячённый, ещё плохо соображая, а рядом, заикаясь, вопил о своей невинности вор.

Стали звать милицию.

— Не надо! — твёрдо сказал Бестин. — Бог ему судья...

— Ты добрый... — прощаясь, шептала Зина.

Проводив её, Бестин разыскал бомжа. Тот горбился возле буфета, прислонившись к мусорному баку, грыз сморщенное яблоко. По его ленивому, красному лицу ползла муха.

«Нет, — подумал Бестин, — скука не от комфорта...»

Он сел за столик и жестом пригласил бомжа. Тот, не спеша, выбросил через плечо огрызок. Бестин заказал водки, доставая кошелёк, вздохматил купюры.

— Давно здесь крутишься?

— Др-у-гой год... — бомж высморкался, зажав нос пальцами. И вдруг заголосил: — Эх, жизнь-ж-е-стянка...

Юродство шло ему, как лай собаке.

«А он сметливый...» — подумал Бестин, пристально глядя в бегающие глаза.

От бомжа несло, и Бестин, наполнив стакан, подтолкнул его мизинцем на край стола.

— И не стыдно? — вернулся он к происшествию.

Бомж закусил водку хлебом, смахнул крошки в карман.

Барабаня пальцами по столу, Бестин притворно нахмурился, заговорил о законе. Бомж согласно кивал, косясь на недопитую бутылку.

— Да разве можно так с людьми? — подвёл черту Бестин.

— А они что мне — р-о-дные? — захмелев, оскалился бродяга. — Человек человеку б-у-рундук!

Щёлкнув невидимым замком, половинки сомкнулись. И Бестин решился:

— Можно по-лёгкому денег срубить...

— А что, — выслушав, усмехнулся Шамов, — будем, как р-ы-жик в сметане...

С Рябухиным вышла загвоздка, но потом всё наладилось. В их планы входил шантаж тех, кого жестоко разыграли. «Мы открываем им глаза на себя, — философствовал Бестин, — а это дорого стоит...» Они думали вымогать деньги, но узнавать адреса «убийц» было трудно, и с этим решили повременить. Пока их забавляло действие. Особенно веселился Шамов. Он мстил за изломанную судьбу, как туберкулёзный, мажущий своей мокротой дверные ручки.

«Я ц-а-рь. Я ч-е-рвь. Я Б-о-г...» — бубнил он, возвращаясь на дачу, и во всех его движениях сквозило угрюмое самодовольство.

Но когда кончились деньги, стал настаивать, чтобы Бестин прижал Рябухина.

Моросил дождь, в сизых сумерках кривились фонари.

— Долго ум-и-рать нев-е-жливо... — густо прохрипел Шамов. Он вынырнул из подворотни и, поравнявшись с Рябухиным, схватился за живот. Рябухин вздрогнул и нелепо заморгал, как тогда ночью.

Накануне он видел сон. Будто пошёл в театр, и актёр, представлявший зарезанного, вдруг встал у его кресла с торчащим из груди ножом: «Ты зачем убил меня?» И Рябухин, мгновенно проснувшись, похолодел, натягивая на голову одеяло. А теперь это случалось наяву. Вон мимо скользит воскресший бомж и, тыча пальцем, бормочет: «У-бийца, у-бийца!..»

Всё это время Рябухин жестоко мучился, не мог поверить, что он, добропорядочный гражданин, за всю жизнь не обидевший и мухи, так легко совершил убийство. «Я не успел подумать, — заговаривал он себя, — всё произошло слишком быстро!» Раз за разом прокручивая случившееся, Рябухин ломал голову, что оно могло значить, пока не решил, что его руками свели счёты: заставив убить, переложили часть вины. Однако у него что-то не складывалось. А ночью, после нелепой выходки бомжа, Рябухин понял, что именно. Его озарило сразу, как только он открыл дверь. На пороге стоял молодой человек в расстёгнутой куртке. Рябухин в ужасе попятился, а парень, хватая липкие перила, едва не скатился по лестнице. Мир тесен, Бестин узнал в Рябухине одного из сослуживцев отца, вечно толпившихся у Анжелины Францевны. А по тому, как тот впился в него глазами, понял, что и Рябухин узнал его.

«Вот тебе и сл-у-чай, — мямлил на даче Шамов. — Нет, что ни г-о-вори, над всякой ар-и-фметикой есть своя алгебра...»

Но Шамов хоть и намекал на вмешательство небес, в Бога не верил. Раз он проводил зиму в монастырском приюте, за харчи чистил скотный двор, таскал вёдра из выгребной ямы.

«Мир без Бога — сиротский дом, — хрустя суставами, проповедовал вечерами молодой священник. Он быстро воодушевлялся, глядя поверх голов, принимал шевелившиеся губы за молитву. — Бог, как отец, один, и другого не бывает...»

«Бог, как отец, один, — зубоскалил про себя Шамов, — но отец у к-а-ждого — свой...»

А весной ушёл побираться и воровать.

Свой опыт однажды ставили на женщине. Руку ей оттягивала сумка, и она не выпустила её, когда Бестин

совал ей пугач. Она взяла его за дуло, растерянно хлопая ресницами, и веснушки на её лице прыгали, как чёртики на пружинках. Бестин кивнул подбородком в сторону бомжа. Жест был красноречив, но женщина только испуганно переминалась. Бестин соорудил страшную гримасу. И тогда, уронив пугач, женщина разревелась. У неё потекла тушь, а веснушки стали наползать друг на друга, сбиваясь в жёлтые пятна.

Не выдержав, с хохотом вскочил Шамов.

«Курица!» — разозлился Бестин.

С тех пор женщин не трогали.

Едва Бестин закрыл глаза, навалился кошмар. Вот он сидит в кровати, обложившись подушками, как в детстве, когда бредил в жару, а в дверях стоит кто-то, чьего лица не разобрать под складками чёрного капюшона. Бестину кажется, что это его отец.

— Ты же умер... — шепчет он.

— Ну и что, — опустил на кровать человек в чёрном. — Разве мёртвые не воскреснут?

По стенам закружились тени, поплыли, растворяя комнату. Время повернулось вспять: вот Бестин снова стоит у морозного окна, глядя в метель, слушает нудный голос няни, вот опять угрожающе тикает будильник, словно детство никуда не уходило.

— А что, уже наступил конец времён?..

Бестин хотел продолжить, но смутился.

— Он и не прекращался, — отрешённо промолвил человек в чёрном. — Апокалипсис происходит ежеминутно, только его не замечают... — Он тяжело вздохнул. — Но оставим философию, я не за этим пришёл... Скажи, разве можно так с людьми? — Отец вдруг стал строгим и чужим, и Бестин почувствовал, что его испытывают, точно он сам недавно испытывал Шамова.

«Нет-нет, это не отец, — завертелось в голове, — он подделывается, чтобы обмануть меня! В его голосе нет любви...»

— Ну-ну! — ухмыльнулся незнакомец. — На свете вся мерзость делается во имя любви... И Бога распяли её именем!

Он промокнул лоб, показав землистое лицо. Бестин хотел возразить, но человек в чёрном поднял руку.

— Брось, себе все адвокаты, никто не признается в собственной подлости, — устало махнул он и вдруг перешёл на «вы». Его голос зазвучал вкрадчиво, заползая в душу, точно змея: — А вы, Борис Берсеньевич, стало быть, на этой подлости промышлять вздумали?

Стало слышно, как тикают часы.

— А почему бы и нет? — храбрился Бестин. — Мира не переделать...

Последовал вздох такой долгий, что задрожали стёкла.

— Это верно, его можно лишь искупить... Только вот сплёл раз паук паутину, ждал, ждал, а никто в неё не попался. Так и засох в углу! А в его сеть после муха угодила. Дурные дела долго по свету бродят...

— Уж не явился ли ты читать мораль? — огрызнулся Бестин.

— Я?.. Ну что вы! У меня другая цель...

— Что, душу купить? — Бестин боялся ответа и оттого заговорил шёпотом.

— Ах, сколько пафоса! — также шёпотом передразнил человек в чёрном. — Душу-то по пять раз на дню закладывают... Какая там цена! — Он наклонился, демонстрируя кошачьи зрачки. — Нет, я больше предостеречь... — Взяв Бестина за пуговицу, привлёк к себе. — Не бойтесь сообщника? Ну, как донесёт?

— А какой ему расчёт? Его же самого привлекут...

— Э-э... Если бы все человеческие дела на расчётах зиждильсь! А то ведь больше на дури...

И Бестин испугался. Ему вдруг захотелось избавиться от Шамова.

— Но что мне будет? — подумал он вслух. — Тянет на мелкое хулиганство...

— И то верно. Вы ловко придумали... — Человек в чёрном сложил пальцы пистолетиком. — Игры в пиф-паф. А денег пока не требуете. Только ведь кто соблазнит малых сих, тому лучше мельничный жернов, да в омут...

Незнакомец рассыпался мелким смехом.

«Как гнусно он хихикает», — подумал Бестин.

Вспыхнув, перегорела лампочка, выхватив свернувшийся, как свиток, потолок.

— А человецев искушать не гнусно?! — вдруг заорал человек в чёрном, заполняя собой всю комнату.

Бестин закрылся руками.

Оставшись одна, Ангелина Францевна ушла в болезни. Появились бабки-травницы, знахарки, умевшие снимать порчу.

«Богульник хорош от подагры», — воровато причитали они, кадя повсюду запах лекарств.

Покрывая платком секущиеся волосы, Ангелина Францевна зачатила в церковь, молилась за сына, ставила свечи мужу.

«Без Бога душа, как овца заблудшая, — густел басом батюшка. — Без Бога живёшь, как в лесу дремучем...»

И Ангелина Францевна косилась на строгие лики угодников.

На Покров она решила навестить сына. Выкрашивала седину, пудрила дряблые щёки. Портя румяна, раза два всплакнула. На улице было сыро, сквозные липы уже пропускали тёмную синеву. Ангелина Францевна взяла такси,

дорогой наказывала себе не зlobить сына стариковскими наставлениями, и то же авто час спустя привезло её домой — уже мёртвую, с неестественно запрокинутой головой и выпученными глазами.

Хоронили скупо, на кладбище пришли старухи-соседки, мелко крестившие покойницу. Туман полз ключьями, и сгорбленные фигурки выглядели в нём особенно жалко. Глядя на мать, Бестин запомнил сухонькие, смиренно сложенные руки и волосы, убранные с воскового лба под чёрную ленту.

Когда гроб стали заколачивать, Бестин отвернулся.

Рябухин действительно признал в Бестине сына Ангелины Францевны, которую он навещал после смерти Берсения. Он долго колебался, прежде чем донести. Его смущала и собственная трусость, и неизбежное, когда откроется дело, унижение. Но всё же он явился в кабинет следователя Павла Прокопьевича Смыкалова, и в тот же кабинет через день вызвали Бестина.

Пропеллер разгонял сизый дым, плывший от дешёвых папирос следователя.

— Слышали, в городе убийства прокатились... — начал он издалека. — Проверяем вот всех...

— Меня подозревают?

Следователь замахал руками.

— Ну что вы, как можно! Я ведь уже двадцать лет как служу, участковым начинал, я и батюшку вашего застал... Хотите чаю? — Бестин отказался. — А я выпью. Чай размышлять помогает... — Павел Прокопьевич достал из-за папок распечатанную пачку, не спеша, всыпал в стакан. — Боже упаси вас обидеть! Но, согласитесь, вы уже год как университет бросили, нигде не работаете... — Он мелко помешивал в стакане. — А теперь вот и связи странные завели... И чем вы только занимаетесь?

— А я обязан отчитываться? У вас, верно, и так осведомителей хватает...

— Хватает, хватает! Этого добра, как грязи... — Павел Прокопьевич глубоко вздохнул. — А как я дружка вашего нового притащу в отделение, да допрошу с пристрастием?

— Прекратите ёрничать! — огрызнулся Бестин. — Не стройте из себя Порфирия Петровича!

— Да уж, да уж!.. — закудахтал следователь. — Куда уж нам! Так ведь и вы не Раскольников... Однако же на людской подлости промышлять вздумали...

Бестин вздрогнул и как-то сразу осунулся.

— Откуда вы знаете? — прошептал он, побледнев. — Это он вам сказал?

— Кто? — подхватил Павел Прокопьевич, разливая в блюдце дымившийся чай. — Ну же, голубчик, выкладывайте...

Но Бестин уже оправился.

— Нечего выкладывать! И хватит меня ловить, всё равно не поймаете...

— Фу ты, какие мы важные! — напустил обиду следователь. — Претензий много, а сами наследство отцовское проматываем...

— Завидуете?

— Тоже скажете! Только я в университете навёл справки — вы ещё тот умник! И про меня, верно, думаете — мент тупой!.. Только напрасно, мы своё дело знаем туго. Рано или поздно, дойдём. Как бы не опоздать...

— Да как вы смеете! — взорвался Бестин, стискивая пальцы. — Хотите на меня убийства повесить? Признания добиваетесь? А в чём? К Рябухину заходил? И что? Дверью ошибся...

— Стоп! — перебил следователь. — А чего вы про Рябухину вдруг речь завели? Я ведь, кажется, его не упоминал...

— Так элементарно! У меня с ним давняя антипатия, ещё со смерти отца, вот он вам, видно, и наплёл с три короба...

— Ну, хорошо... Только зачем безвинному так волноваться? Может, всё-таки выпьете чаю? А приятель ваш, тот, кого на дачу к себе поселили, ведь он забулдыга... И пьёт. Какая вам компания?

Павел Прокопьевич пристально уставился на собеседника.

— Ну, это моё дело! — вскинулся Бестин.

— Это конечно, только разве он вам ровня? И верно, мать недовольна...

Следователь осёкся.

— Умерла она... — эхом отозвался Бестин.

— Ой, и не знал! — притворно смутился Павел Прокопьевич.

Бестину стало противно.

— Я ухожу! — твёрдо сказал он, поднимаясь к вешалке и втискиваясь в пальто.

— А я вас и не держу! Только смотрите, бросьте вашу затею... — Павел Прокопьевич говорил, как строгий отец. — Я знаю, вы по-своему честный. Думаете, вам деньги нужны? Так нет же. Вы их презираете. Вы только говорите, что за наживой бегаєте. Вам гордыню свою потешить. Мол, не такой я, как все, выше! Только поверьте старику, плохо кончите... Не первый чёрта за усы дёргаете!..

— Не мелите чепухи, — бросил в дверях Бестин.

Следователь быстро подошёл к нему вплотную.

— А что, сообщник-то уже теребит? — подмигнул он. — Ведь он попроще, философией сыт не будет, ему деньжат подавай...

Бестин сухо откланялся.

«Как бы не накаркал...» — подумал он.

Шамов был бродягой по призванию. В последние годы он тёрся среди хохлов и поднабрался их выражений. Наглея, он выпячивал челюсть и, делая ударение на первом слоге, цедил: «Шо́ вы гово́рите?»

В этом опустившемся, сизом от водки человеке было трудно заподозрить сельского учителя. Вспоминая брошенную жену, «разнесчастную бабу, жившую с горьким пропойцей», рассказывая про разлучницу-тёщу и маленьких, вечно плачущих детей, он горячился и жаловался на судьбу.

Но потом разводил руками: «Об-ы-чная история...»

Павел Прокопьевич исполнил свою угрозу, вызвав Шамова. Но ничего не добился. На допросе тот прикидывался слабоумным и всё время переспрашивал: «Вы шо́ гово́рите, гр-а-жданин начальник?» Павел Прокопьевич усмехался, а в конце остерёг: «Смотри, как бы беду не накликали...»

Вмешательство Павла Прокопьевича имело результат — на какое-то время затаились. Но шла неделя, другая, и становилось невмоготу. Обоих точно подмывало, будто кто-то дразнил: «Ну, в последний раз...» Избегая разговоров, смотрели телевизор, наливали водки — каждый себе. Но сломались в один день. Не сговариваясь, достали с чердака пугачи и флакон красных чернил.

Чтобы дело принесло выгоду, Бестин привлёк Зину. Он наговорил ей про какие-то документы, бросавшие тень на его семью, про шантажиста, свалившегося, как снег на голову, заклинал памятью Анжелины Францевны. Он сказал, что встречается с шантажистом ночью в метро, но документы тот хранит дома. Зина должна была ездить мимо условленной станции, чтобы потом проследить за севшим в её поезд и узнать его адрес.

Дважды она проезжала мимо пустынного перрона. На третий раз в вагон зашёл пассажир, похожий на гнома.

У человека в грязном плаще не было имени. Вместо имени у него было множество прозвищ, вместо лица — маски. На войне он забыл своё прошлое, на ней же потерял золочёный крестик, подаренный матерью при крещении. Привычки, желания, прежняя жизнь — всё схлынуло мутным потоком, всё было смыто селевой грязью, сошедшей с чужих гор. Он служил в диверсионном отряде, и инструкция велела ему уничтожать случайных свидетелей — будь то женщина у колодца или пастушок. И он охотно соблюдал эти правила. На войне своя мораль, лицемерие остаётся в далёких городах. И человек в грязном плаще добивал раненых — своих и чужих, друзей и врагов. Когда взводного зацепила пуля, он помог ему избежать плена, выпустив в него обойму. В его жилах текла кровь убийцы, его руки были руками палача. Человек в грязном плаще избегал женщин: они давали жизнь — он её отнимал. Смерть доставляла ему все муки сладострастья, приносила жгучее, ни с чем не сравнимое удовольствие. В нём было что-то от некрофила, но он замахивался выше. Разрушая творения, он бросал вызов Творцу. Он был религиозен как падший ангел, бунтуя против Создателя, узурпировавшего право на жизнь, против Его никчёмной, дурно устроенной Вселенной, против оболочки человека в грязном плаще.

Он часто представлял себе, как слушает проповедь шестикрылого серафима, глядя на него сквозь прорезь прицела, как молчит, когда тот рассказывает о любви, победившей смерть, о любви, которая единственная обещает спасение, и как, легонько тронув спусковой крючок, проверяет его любовь к палачам.

Человек в грязном плаще был отчаянно храбр и не ждал пощады к себе. Когда вышел срок службы, он заключил контракт. Раньше он убивал, прикрываясь долгом, теперь — наживой. Но очень скоро от его услуг отказались.

Псы войны почуяли в нём тигра, они были волками, он — людоедом.

В городе он стал убивать за деньги. Его почерк отличала точность, казалось, его страшит само Зло. Затаившись, как клещ, он долго выжидал жертву, но жалил молниеносно, как таранул. Он помнил растерянность братвы, когда в стеклянном переходе, соединявшем больничные корпуса, пристрелил прятавшегося в клинике «авторитета». Он долго караулил его на лавочке в саду, нацепив тёмные очки и полосатый халат, а свалил первым же выстрелом, смешав его со звоном бьющегося стекла.

Раз ему «заказали» чиновника. Он застрелил его дерзко, вместе с охраной, в лифте деловой «высотки». Рассчитав движение по секундам, открыл пальбу сквозь двери встречного лифта, в котором бросил после истребительный автомат. Кабина спустила его в вестибюль, где он растворился в людском муравейнике, когда другая, изрешечённая, поднимала вверх трупы. Но работа по найму притупляла звериный азарт, и вскоре человек в грязном плаще оставил прибыльное ремесло. Теперь, когда подступавшее к горлу желание делалось невыносимо, он отправлялся на ночную охоту и, как хищник, чувствовал в момент убийства невероятный прилив.

Как-то в полночь его встретили двое.

— У тебя есть выбор, — угрюмо процедил один, — либо отдать всё сразу, либо со сломанными пальцами...

— Надеюсь, ты мужик, — ухмыльнулся другой, сжимая кулаки.

— Я не люблю драться, — блеснул фиксой человек в грязном плаще, — я люблю убивать...

Всего этого Бестин не знал.

«С удовольствием, приятель!» — выдавил человек в грязном плаще, точно провёл бритвой по стеклу.

Спуская курок, он уже чувствовал привычное возбуждение. Пузырёк лопнул: чернила красным пятном проступили на рубашке Шамова. Но не там, куда целил человек в грязном плаще. Обычно такую мелочь не замечали. Но человек в грязном плаще заметил. Его блеклые глаза обратились в щели, повернувшись, он опустил игрушечный пистолет в карман и сразу извлёк оттуда настоящий. Он медленно направил его в лицо Бестина, сосредоточившись на переносице. Затем, повернув рукояткой, протянул, качнув им в сторону скамейки. Бестин содрогнулся. Этот жест перечёркивал его жизнь, растворяя её, как слёзы девушки растворяют каракули любовных признаний. Человек в грязном плаще подавил его.

«Надо кончать...» — застучало в висках, и его прошиб пот.

Он повернулся на ватных ногах и, как заведённая кукла, дважды выстрелил.

Разгоняя спёртый воздух, на перрон вылетела электричка. Человек в грязном плаще, не спеша, вошёл в вагон. На дремавшую в углу девушку он не обратил внимания.

Как вернулся на дачу, Бестин не помнил. Он дрожал, натягивая на голову одеяло.

— Ну, вот и всё, — вздохнули рядом, — паук угодил в свою паутину...

Бестин встрепенулся. «За мной пришли», — подумал он.

— Да нет, — ответили снаружи, — ты забавный, наблюдать за тобой — удовольствие...

Бестину было душно, он трогал ледяными пальцами воспалённый лоб.

— Я знаю, — жмурился он в темноте, — это ты всё подстроил!

Заскрипели пружины, но Бестин не решался скинуть одеяла.

— Ну, зачем так? Ты же сам хотел избавиться от Шамова... — Голос лился вкрадчиво и, проникая под одеяло, жёг раскалённым железом. — А теперь разнюнился... Что, бомжа жалко? Нет — боишься, что приговорят... — Он произнёс это с какой-то безмерной усталостью, точно читал прописи. — А ты не бойся! И смертный грех тебе не грозит. Там перевоспитывать не будут — ада нет, как и рая. Мир — это письмо без адреса, его уже не переписать... — Он немного помолчал. — А что Евангелие предлагает любить палачей — так это от страха. Заложники тоже часто просят за тех, кто держит их на прицеле. Нет, жизнь ужасна, вот и Шамов подтвердит...

И Бестин увидел в углу сидящего по-турецки бродягу.

— Да-да, — беззвучно шевелил он, уже не заикаясь. — Умирать легко — жить трудно...

— С другой стороны, — философствовал голос, — если бы ещё и страха не было, а была бы одна серая скука? Только бы и вешались! — Сквозь одеяло Бестин вдруг почувствовал запах земли, точно её комья забрасывали свежую могилу. Холодея от ужаса, он вынырнул наружу, в непролазный мрак. — А в милицию не ходи... — доносилось оттуда. — Ну, кто станет искать убийцу бомжа? А Смыкалов хватится — скажешь: ушёл, на то и бродяга...

— Сгинь! — заорал Бестин и, откинувшись на кровати, впал в беспамятство.

Таким его наутро нашла Зина, принёсшая адрес человека в грязном плаще. Плыли рассветные сумерки, цветы на обоях проступали лиловыми пятнами. Бестин метался в горячке. В короткие минуты просветления он, как рыба, глотая воздух, во всём признался. Зину потрясла его исповедь. Несколько раз она порывалась уйти, взмахивая руками, подносила ко рту, точно удерживала готовые сорваться слова.

К вечеру Бестину стало лучше.

— Пойдём, — твёрдо сказала Зина, стиснув ему кисть, — ты не виноват! Они поймут... А я всегда с тобой буду, всегда, так и знай!..

Бестин смотрел на неё невидящим взором.

— Вот ещё одна пострадать вздумала! — издевался внутри него человек в чёрном. — На каторгу пойти... «Где страдания — там Святая земля...» Тьфу! Нет никакой каторги... Всё — ложь, нет ни страдания, ни святости, а есть одна серая скука!

Дело вёл Смыкалов. Оформляя явку с повинной, качал головой:

— Как же вас угораздило...

И поучал Бестина, как получить сбавку:

— Упирайте на молодость, судьи — те же люди, по-сочувствуют...

Но Бестин его не слушал. Возвращаясь в камеру, он отворачивался к стене и точно окаменевал. Одна и та же мысль сверлила ему мозг: он всё продумал, рассчитал — и потерпел неудачу. Значит, у этой пьесы был и другой режиссёр. Тот, которому с самого начала был известен финал.

Приходила Зина. В короткие минуты свидания, кусая губы, допытывала, что может для него сделать. «Уйти», — хотелось сказать ему, но он молчал.

Смыкалов сам приготовил речь и в ночь перед судом всучил Бестину:

— Постарайтесь, голубчик, свидетелей-то нет...

И действительно, человек в грязном плаще остался верен себе: отстреливаясь до конца, он в последний раз испытал жгучую радость, сунув дуло в рот.

— Маньяк... — по-своему объяснит это Смыкалов. — Вот говорят про какой-то там выбракованный

процент, про взбесившееся гены... Чепуха! Таких делают, чтобы мы не задавались, чтобы помнили про звериное нутро...

О суде сообщили газеты. Узнав о своей невинности, явились несостоявшиеся убийцы — негодовали, грозили, требовали. Больше других лютовал Рябухин. Он тряс лысоватой головой и рассуждал о справедливости.

Смыкалов не подвёл, рассказав о помощи следствию. Но прокурор потребовал смертную казнь.

Обманув ожидания защиты, Бестин от последнего слова отказался. Он смотрел в сторону и видел Режиссёра, с которым ему скоро предстояло встретиться...

ЦЫГАНСКИЙ РОМАН

Она родилась в пятницу, тринадцатого, и, чтобы отвести порчу, её назвали в честь святой Параскевы Пятницы. В девичестве Параскева была Динь, а когда вышла за однофамильца, взяла фамилию мужа, оставив свою. Динь-Динь звучит, как агар-агар, и Параскева сама была, как мармелад, сладкая, мягкая, с волосами, как водоросли.

Улица у нас такая короткая, что когда на одном конце чихают, на другом желают приятного аппетита, и про каждого знают больше, чем он сам. Дед у Параскевы был дровосеком, насвистывая, размахивал топором, и, как верблюд, поплёвывал на ладони. Старый цыган не тратил копейку, пока не получал две, и не бросал слов на ветер, пока не подбирал других. У него были вислые усы и плечи такие широкие, что в дверь он протискивался боком. А сын пошёл в проезжего молодца. Тощий, как палка, и чёрный, как грех, он целыми днями просиживал с кислой миной на лавке под раскидистой липой, потягивая брагу и отлучаясь только в уборную, так что со временем стал как поливальный шланг. От отца он унаследовал только вислые усы и верблюжью привычку. «Чай, не колодец», — плевал он в шапку прежде, чем надеть. И, насвистывая, шёл под липу. На ней же он и повесился, поворачиваясь к ветру вывернутыми карманами, в которых зияли дыры.

Осиротев, Параскева осталась в хибаре на курьих ножках, из единственного окна которой выглядывала, как солнце. Утром она смотрела, как в углу умывается кошка, днём латала дыры в карманах, а ночью спала «валетом» со старшим братом, у которого живот с голоду пел так громко, что заглушал соседского петуха. Брат с сестрой остались наследниками отцовских долгов и мудрости, что оставлять на тарелке кусок — к бедности. И Параскева, тщательно вылизывая прилипшие ко дну крошки, счастливо перешагнула бедность, став нищенкой. Простаивая у церковной ограды, она выпрашивала затёртые медяки, уворачиваясь от липких мужских взглядов. А вскоре отпала необходимость спать «валетом» — брат и сестра поженились. Брат был удачлив, приставляя лестницы к открытым чердакам, приделывал ноги чужому добру, но Параскеву не прельстил домашний халат, детские сопли и отложенные на чёрный день гроши. «Горячей кобылке хомут не набросишь», — ворчал брат и однажды приставил лестницу к тюремному окну. Погостив за решёткой, он стал бродягой, кочуя по чужим постелям, перебрался в далёкие страны и, когда изредка встречал там земляков, звавших на родину, говорил: «Где член, там и родина...»

Параскева же узнала мужчин в таком количестве, что их лица казались ей одинаковыми. «Динь-Динь, платьице скинь», — восхищённо шептались юнцы. «Динь-Динь, ноги раздвинь», — цедили сквозь зубы отвергнутые мужчины. А женщины, заслонив рты ладонью, с завистью передавали, что у Динь-Динь новый господин. Но Параскева никого не любила, разбрасывая любовь, как приманку. И была по-цыгански воровата — похищала сердца. Постепенно её коллекция включила нашу улицу, расширяясь, переросла город, захватила окрестности, пока не наскучила ей самой. Тогда она разбила её, наполнив осколками всю округу, сделав мужчин бессердечными.

Я не попал в их число. Женщины с детства обходили меня стороной. Одноклассницы казались мне некрасивыми, с одинаковыми, как на детских рисунках, лицами — два кружочка, два крючочка, посредине палочка. За спиной они крутили мне у виска, а в глаза, когда я отказывался от сигареты, дразнили, разнося сплетни, что мужское достоинство у меня короче окурка. Их насмешки становились нестерпимыми, и однажды я убежал с уроков, до вечера бродил по городу, заглядывая в светившиеся окна, думая, что все вокруг счастливы, кроме меня, читал вывески увеселительных заведений, в которые не решался зайти. А ночью мне снился полутёмный бар и худые, смуглые девушки в сизом дыму. Вблизи я разглядел, что это сошедшие с рекламы дамских сигарет химеры, с девичьим лицом и тонкой папироской вместо шеи. Папироска дымилась, и девушки, как кошки, лизали её, обжигая языки.

— Так вам и надо, — опустил я за стойку, — нечего языки распускать!

— Девочку? — тронул меня бармен жёлтыми от никотина пальцами. Сидевшая рядом химера обожгла меня поцелуем. Я вскрикнул от боли и — проснулся в слезах.

Заикаясь от обиды, я рассказал сон матери.

— Мама, почему женщины такие безжалостные?

Но мать построила хитрую, злую физиономию, точь-в-точь, как девица из сна:

— Так тебе и надо, женоненавистник!

И, наклонившись, прижгла мне губы сигаретой.

Я закричал от ужаса — и тут пробудился окончательно. Подушка была зарёвана, а на губе горел ожог. «У женщин свой интернет, — решил я, — весь мир бьётся в их паутине...»

— Разве я гадкий утёнок? — пожаловался я матери. — Может, мне не идут штаны?

— Скоро ты вырастешь, — пропела она, будто колыбельную, — а взрослые мужчины проводят больше времени без штанов, чем в штанах...

У матери нежный голос, успокаивая, она ласково гладила мне голову. Но вдруг её лицо исказила злоба, рассмеявшись, она приблизила пылающие губы. Так я понял, что снова уснул и ко мне вернулся прежний кошмар. От страха я зажмурился, выставив, как рогатки, морщины и опустив ресницы, как решётку. И заснул — теперь уже во сне. Так я снова попал в бар с табачным дымом.

— Девочку? — тронул меня бармен.

Я посмотрел на его жёлтые от никотина пальцы, когда сбоку ко мне прижалась худая, точно сигарета, химера. И всё повторилось — как в двух соснах, я заблудился в двух снах, которые опутывали меня из ночи в ночь. С тех пор я стал ни на что не годен — ни как мужчина, ни как женщина. Ночью, от одиночества, я пускал в постель кота, и моя жизнь пахла, как осенняя нива, — вчерашним днём. Мне оставалось одно — писать книги. Из-за плохой памяти я считал все мысли на свете своими, меня мучила невыносимая маета, которую приписывают полуденному бесу, и очень скоро мои книги выгнали из библиотеки чужие, как кукушонок — птенцов из гнезда. Зуд в штанах перебивала головная боль, и я смирился с затворничеством, с тем, что мои желания, как и я сам, оставались погребёнными на пыльных желтеющих страницах. Когда делалось скучно, я брал с полки свою книгу, первую попавшуюся, так как совершенно забывал их, читал её, будто заново писал, проживая одно время с героями. Поэтому я старел быстрее, чем шли годы, и в моём возрасте лет мне было — кукушка устанет куковать.

Однако годы, как горб — устал, а неси. Как-то я перебирал их, используя вместо счёта свои рёбра. Выстукивая каждый год кулаком, морщился от боли, а, в конце концов,

сбился. И стал мылить верёвку. Но годы, как кирпичи в карманах, — верёвка оборвалась. Пока я валялся на полу, неуклюже подворачивая ноги, на пороге появилась Параскева.

— На! — протянула она яблоко, которое грызла.

«Взять яблоко, значит взять её», — понял я. И жестом позвал на пол.

— Только, чур, не болтать, — уселась она верхом, сунув мне в рот огрызок.

За окном гудела весна, змейками бежали ручьи, а облака сгрудились, как ледяные торосы. Но в комнате полыхало лето. Параскева смеялась оттого, что моя щетина щекотала ей грудь, а я — оттого, что распрощался с девственностью.

Мы прожили три года, и это время упало в копилку моих лет с отрицательным весом, будто съело три года, на которые я помолодел. Как-то Параскева провела пальцем по корешкам моих книг, выстроившихся на полках, как солдаты в строю.

— Ты знаменит?

Я отвернулся к стене.

— Если пишешь хуже других, есть шанс стать первым, если лучше — никогда...

— Какой скромный! Разве ты не знаешь, что слава приходит к тем, кого понимают все? Хорошо, что я не умею читать...

Так я стал учить её грамоте, а сам бросил писать.

— Милый наполнил мою жизнь смыслом, а я его — милой бессмыслицей, — будила она меня поцелуем, и моя жизнь пахла, как весенняя лужайка, — завтрашним утром.

А через год я предложил Параскеве руку и сердце. Она посерьёзнела, сняв с запястья браслет, стала катать по столу.

— На вопрос: «Это кто — жена?» мужчины вначале отвечают: «Да, но мы не расписаны...», а потом: «Нет.

Но мы расписаны...» — Сложив пальцы в трубочку, она вдела браслет обратно. — От охлаждения, как от смерти, никуда не денешься...

— Сколько же нам осталось?

Взяв за руку, она стала гадать по ладони.

— Пока не явится разлучник. Я вижу, как у него лоснится кожа, а рот светится жёлтым пламенем...

С тех пор я не отпускал Параскеву из дома.

Было бабье лето, облака горбились, как дюны. Мы поужинали морскими устрицами, приправленными базиликом, и сменили стол на постель.

— Какие у тебя огромные глаза... А когда ты щуришься, они увеличиваются...

— Это как?

— От желания...

Кончал я бурно, выбрасывая семя, напоённое страстью, устрицами и базиликом, кричал, как раненая птица, так что соседи затыкали уши. И каждый раз передо мной всплывали все мои оргазмы, испытанные с женщинами, которых я выдумывал в одиноких постелях разных городов. «Оргазм — это маленькая смерть, — думал я, — с ним также воскресает прошлое...» И представлял, как Параскева, кончая пронзительно долго, вспоминает своих любовников.

Параскева была ревнива и не прощала, когда ей изменяли во сне. Однажды я гулял в поле с пышной красавицей, которая сплела венок из одуванчиков, опустилась на колени и, умело переведя мою «стрелку» с шести часов на двенадцать, повесила на неё венок, как на гвоздь. Потом она сбросила одежду и раскинулась в медвяной траве, собирая в ложбинку на груди прозрачную росу, которую я пил, пустив в неё «корень». Красавица горячо меня обнимала, царапая на спине моё имя, так что я страшно удивился, когда она вlepила мне пощёчину.

И тут я проснулся — на Параскеве, с которой, спящий, занимался любовью.

Днём мы голыми бродили по саду, заглядывали, точно в будущее, в колодец с бревенчатыми стенками, в котором всегда осень и который всегда глубже, чем кажется, рвали яблоки, выплёвывая косточки на шуршащих под ногами ужей, и чувствовали себя, как Адам и Ева. А вечером шли на реку — глазеть на паром с пассажирами, похожими в тумане на души умерших, и слушать, как свистят сомы. А, вернувшись, кидали шестигранные кости, разыгрывая, кто будет сверху. «Лентяй!» — упрекала Параскева, проигрывая. За ночь она бывала то суккубом, то инкубом, но всегда — ангелом. Теперь я проводил больше времени без штанов, чем в штанах, и думал, что мне не нужен дом — я вполне могу жить в шатре её волос.

— Как ты пишешь? — однажды спросила она.

— Это просто. Складываешь ладони в шар и достаёшь оттуда слово за словом, будто рыб из воды. Но теперь, когда я не пишу, мне незачем таиться, храня бесполезные слова...

И я произнёс ей все слова, которые не написал, извлекая из ладоней.

Ребёнка мы не хотели. «Хватит одного», — косилась она на меня и по-матерински гладила седину мягкой ладонью. Раз ночью в комнату влетела бабочка — мы узнали её по шуршанию крыл. «Моя бабушка говорила, что это — к смерти, — зашептала Параскева, — если бабочка чёрная — к мужской, белая — к женской... Не включай свет — лучше не знать!» Но я уже щёлкнул выключателем — на стекле бился серый мотылёк. Так я понял, что наш альков качается над бездной, что нам предстоит расставание. Ибо смерть в примете выступила аллегорией вечной разлуки — души и тела.

Шла наша третья осень, яблоки, падая, отсчитывали серые дни, а облака полосовали небо, которое делалось как картофельное пюре, расчерченное ложкой.

— Мы скоро расстанемся, — вздохнула Параскева. Поправив волосы, как воронье крыло, она застегнула на шее ожерелье и, подобрав цветастую юбку, взгромоздилась на высокий табурет. И тут в дверь постучали.

— Ужин заказывали? — мял в руках шапку рассыльный. Он был черняв, как цыганский барон, с серьгой в ухе, в обтягивающих, словно тюленья кожа, рейтузах, под которыми, как ящерица в песке, проступал огромный член.

Я покачал головой.

— Но у меня записано, — загнусавил он, — прощальный ужин на две персоны с предметами разлуки...

И, слегка оттолкнув меня, протиснулся боком в дверь. Отлетая в сторону, я вспомнил плечистого деда Параскевы. Наши взгляды скрестились:

— Ты её брат?

— Все цыгане — братья...

Часы на стене пробили тринадцать раз. «Мы будем есть или закусывать?» — обнажая золотые зубы, расплылся гость, вынимая бутылку рябиновки. Он говорил быстро, разными голосами, будто за спиной у него стоял целый табор, и ещё быстрее, как фокусник из рукава, доставал фаршированную рыбу, маслины, три серебряных прибора. Вместо свечей он зажёл дорожный фонарь, расставил бокалы, как маленькие фляжки, ножи в виде посоха, а на мокрую, как носовой платок от слёз, салфетку положил пустую переметную суму — для объедков. За столом он занял моё место так ловко, что я и не заметил. И стал таращиться на Параскеву.

— К любой двери можно подобрать ключ, — чесал он выпирающий член. — А к своей и подбирать не надо...

— Не надо... — эхом откликнулась Параскева.

За окном каркнула ворона, цветы на подоконнике завяли, а часы снова пробили тринадцать. Пока чернявый тараторил, я выпил бокал и неожиданно захмелел, так что, наполняя второй, пролил несколько капель на скатерть.

— Кровь не водица, — распинался меж тем цыган, уставившись на красное пятно, — своё возьмёт...

— Своё возьмёт... — опять повторила Параскева.

— И мы возьмём, — вставил я, — не водицу.

Подняв за горлышко опустевшую бутылку, я спрятал её под стол и спустился в погреб. Лестница подо мной скрипела, как лес в грозу, но я расслышал наверху шум. Торопливо открыв кран, я налил из бочки старого вина, зачерпнул в ковш воды и аккуратно, стараясь не расплескать, поднялся. Дом был пуст. И от этой пустоты я мгновенно ослеп, точно в глаз меня укусила пчела. На ощупь я выбрался во двор, постепенно привыкая к пустоте, как привыкают к свету, заглянул в колодец, который показался мне глубже обычного. Я выскочил за калитку — далеко за околлицей, вздымая пыль, мужчина, как овцу на поводке, вёл за ожерелье женщину. Я долго смотрел, как высится его шапка, представляя, как он плевал в неё, прежде чем надеть, пока она не скрылась за поворотом.

Поводок у Параскевы оказался коротким, удаляясь, её фамилия ещё звенела из разных мест, как колокольчик, пока не затихла. Вечерами я по-прежнему слушаю, как выплёскиваются на берег сомы, блуждаю в двухъярусном сне, покидая его только затем, чтобы сочинить очередную книгу. Мои часы показывают вечер, как и раньше от одиночества я пускаю в постель кота и перечитываю свои книги. А когда девственность гнетёт меня с особенной силой, я беру с полки самую дорогую из своих фантазий. Это рассказ про Параскеву —

«ЦЫГАНСКИЙ РОМАН»

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ДИОГЕНА

«Свой среди призраков — чужак на земле, — чесал затылок Демьян Самокрут, разгоняя вшей. — Рождённый под луной — под солнцем умирает...» Его не слушали. Мало ли кто топчет дороги Руси. Но Демьяну было всё равно. Припадая на деревянную ногу, он переходил из деревни в деревню, а впереди катил бочку с тугим железным обручем. Днём он ставил её рядом с харчевней, откуда на задний двор выносили объедки, а на ночь переворачивал вверх дном. Упёршись в него макушкой, он слушал тогда, как стучит дождь и падают звёзды.

У Демьяна не было шеи, зато были глаза телёнка, а нос ходил по лицу, как смычок по скрипке. Он мог носить глаза на затылке, а язык, как гвоздику, за ухом. Впрочем, его лицо так заросло, что уже не отличалось от темени. Демьян шёл из ниоткуда в никуда, и его прошлого никто не знал. Полагали, что он беглый монах, иудей или мусульманин. Говорили, будто он проглотил беса и с тех пор носит свою судьбу за пазухой. Это писано вилами по воде, но любая биография — вымышленная.

Цельми днями Демьян, как жаба, ловил мух, ожидая вечера. Петухи по плетням кривили на него шею, а деревенские, сгрудившись вокруг, грызли яблоки и травили комаров самосадом. Наконец жара спадала. «Демократия — это когда, не разрешая говорить, запрещают молчать! — взобравшись на бочку, бил он тогда кулаком в грудь. — Да и что толку

болтать, когда ваши разговоры, как у него с глухим...» Он вёл жаркие речи, опираясь на непристойности, как на костыли, безбожно врал и божился квашеной капустой, запах которой висел в бочке, как топор. Ему нравилось дразнить гусей, но толпа равнодушно зевала. В век телевидения кудаки не в диковинку. От обиды у Демьяна вставали волосы, а голос садился, как у простуженного евнуха. «Измельчал народ!» — издевался он, притворяясь, что за спинами видит прошлое до седьмого колена. «Мала свистулька, а звону...» — усмехались ему, запуская руку в штаны. Но Демьян не сдавался. «Миску щей здесь дают со скрипом, а бока мнут с удовольствием...» — доставал он последний козырь. Тут в него летели огрызки. Он топал протезом, и бочка гудела, как колокол. Его уже грозили подвесить на колодезном журавле. «Так всегда, — ворчал он, — встречают по одежке, а провожают по этапу».

И забросив язык за ухо, седлал дорогу.

Бывало, он служил вместо собаки, приспособив бочку, как конуру, лаял по ночам и, как сторож в колотушку, стучал по доскам протезом. Кормили его больше от удивления, чем из милости, а секли чаще, чем кормили. Раз хозяйева застали его у телевизора. Самокрут щёлкал кнопкой, будто колол орехи. «Ищу людей», — оправдывался он, когда его выталкивали за дверь. Однако с тех пор дурная слава шагала за ним, как вор, и его всё чаще провожали до околицы свистом и камнями.

Дорога к себе бесконечна. Но Самокрут прошёл её всю. И теперь ему не нужны были проводники. Горланя на обочине, он не слышал эха и вращал в себя, как пень. Однажды мимо его стоянки проезжал губернатор. Лицо у него было таким толстым, что, заглянув в бочку, накрыло её, как блин сковородку. «Что надо, проси...» — глухо зашептал губернатор. На носу были выборы, и голоса шли на вес золота. Самокрут до крови закусил губы. Он задыхался. Но страх

перед розгами оказался сильнее. «Ты загораживаешь солнце...» — ощупал он свесившийся сверху нос, делая вид, что перепутал со своим. В темноте легко потеряться, и губернатор выскочил, как пробка. «Я бы и стал Самокрутом, — оправдывался он, часто моргая, — не будь раньше губернатором...»

Мылся Демьян в водосточной канаве, от которой несло, как из хлева. «Зараза к заразе не липнет!» — дразнили его мальчишки с перекошенными от вони глазами. «В чистоте хорошо умирать», — хрюкал он, пугая рой жёлтых мух. И ему всё было божья роса. Свободный, как плевок на асфальте, он изменял женщине, едва воображал другую. «Можно сойтись, но легче обойтись», — мастурбировал он посреди площади, чумазый от сажи, ныряя в бочке, как поплавок. Его вой подхватывал ветер, и окрестные псы беспокойно дёргали цепью, шаря небо блестящими глазами.

— Похоть у всех в крови! — орал он, когда ему пересчитывали рёбра.

— Блуд блуду рознь! — выдворяли его за эксгибиционизм.

В ту же пору посреди русского бездорожья объявился упырь. Он сидел на корточках, протыкая бородой свою тень, и никому не давал прохода. «Его нет, однако, его легко потерять, а найти невозможно», — загадывал он встречным загадку. Слыша молчание, упырь вынимал глаз. «Зачем он тебе, — смеялся он, — ты смотришь, но не видишь...» Щурясь, как в монокль, одноглазые, случалось, прозревали. И тогда в досаде вырывали оставленный им глаз. Упырь подбирал и его, прикалывая орденом на волосатое бугристое тело.

Хлестал дождь, а ветер, как кабан, ломал ветки. Смешивая брызги, Самокрут мочился в кустах, когда упырь схватил его за мошонку. Место было глухим, как город: кричи,

не кричи — не помогут. Однако отчаяние — тоже помощник. Задрав от боли колено, Демьян притиснул упыря деревянным копытом. Тот завизжал и выставил ножом загадку.

— Это смысл жизни, — не раздумывая, выбил её Самокрут.

— Пусти, — пробормотал упырь, — дай мне повеситься...

Скрипела сосна, а его тело смотрело вниз тысячью вынутых глаз.

После этого случая Демьян уже не искал мест, куда Макар телят не гонял. Помыкавшись по свету, он облюбовал себе людную корчму, в которой одиночество развязывало язык наперегонки с водкой. Раз проездом на воды в ней сидел столичный профессор с женой. У обоих уже кустами цвела седина и на очках кисла улыбка. Вчера они весь вечер кололи друг друга, как янычары, но сегодня были счастливы: жена оттого, что настояла на поездке, а муж, что сократил её вдвое. Они ели кулебяки, а объедки относили караулившему под дверь Самокруту.

Профессор вышел первым и, дырявя тростью тень, сел на бревно. Его разморило, и, вставив спички в слипавшиеся глаза, он стал наблюдать, как бродяга набросился на лохань с помоями. Самокрут ел, словно голодная птица, пронося куски мимо рта и разбрасывая крошки. От запаха грязного тела у профессора закружилась голова. «И даёт же Господь здоровье...» — брезгливо поморщился он, уперев подбородок в ладони. Самого его уже год мучила язва, а диеты потихоньку сводили в могилу. Раньше он мог утешиться, обняв жену за плечи, а теперь представил дорогу, во время которой она наберёт в рот воды, а он будет вертеть головой, чувствуя себя брошенным, как лопух в поле. «И куда едем? — с завистью покосился он на бродягу. — Луна везде одинаковая...» А Самокрут веселел с каждым куском. «Держи девку за уши, а тарелку за края!» — перевернув лохань

к солнцу, вылизывал он дно красным, коровьим языком. Улыбка на его лице гуляла, как кошка — сама по себе. Но он был старше своей улыбки.

— Ты думаешь, смерть за горами, — подсел он на бревно, — а она идёт следом, как март за февралём.

Профессор отодвинулся и начал чертить тростью на песке. Его горло стянул воротник.

— Ты носишь привычки под шляпой, — зашёл Самокрут с другого конца, — но учти: если лягушку бросить в кипяток, она выскочит, а если медленно греть — сварится...

Профессор поёжился, у него вдруг защекотало в носу, и он громко чихнул.

— Вот-вот — поддержал Самокрут, — ты родился стариком, а твоя жена умирает всю жизнь. Но на будущей неделе тебя хватит удар, а она будет продолжать курс, чтобы потом ещё дважды выйти замуж...

Воротник превратился в испанский сапог, и профессор расстегнул пуговицу:

— Пальцем в небо... — отмахнулся он.

— Я не гадалка, — возразил Самокрут, — это ты живёшь сослагательным наклонением, а на ладони у тебя не хватает линий...

Профессор непроизвольно глянул на руки, которые тут же вспотели. Они не знали мозолей и были отвратительно белы. А бродяга, перейдя на шёпот, гнул своё.

— Человек ищет, где лучше, а находит, где раки зимуют, — читал по его губам профессор, — вот и ты, как ручка, нашёл свой колпачок: ты написал множество букв и — ни одного слова...

Правда всегда чудовищна, и профессор отшатнулся.

— Полюбуйся, дорогая, — растерянно пробормотал он, — местный киник...

Появившаяся жена зажимала нос платком: у неё слезились глаза и сводило скулы. В городе она ходила в церковь

и теперь смущённо улыбалась, заставляя себя любить ближнего. Но вера пасовала перед вонью, выскальзывая, как обмылок.

— Тебе сорок три года, — меланхолично перечислял Демьян, нагло уставившись на её увядшую грудь, — со дня твоего рождения прошёл век, а со дня смерти — два. Тебя назвали Евой, но ты забыла своё имя и стала кукушкой. Теперь ты клянчишь дни у мёртвого бога, но твои мысли стареют вперёд тебя.

Жена обомлела. Никто ещё так не говорил с ней. Она посмотрела на мужа, ей захотелось, чтобы он, как раньше, обнял её за плечи, но тот отвернулся, продолжая чертить на песке.

Женщина покраснела, её вид взывал к приличию.

— Есть только одно приличие, — ухмыльнулся Самокрут, — не мочись на свою тень!

И тут же, спустив штаны, его нарушил.

Дорогой жена опять молчала. А профессор думал, что на свете только один спектакль, который смотрят кто с университетской кафедры, а кто сквозь щель в бочке. На горизонте дыбились облака, и он чувствовал себя мертвецки уставшим, волоча бесконечную гирлянду тусклых дней, неотвязных, как лохмотья.

С годами бочка прохудилась, а обруч, проржавев, лопнул. Демьян ставил заплаты, но вёрсты стачивали их, как зубы. «Нас обдирают, как липку, — думал он, — и накажут всех без разбору: кого за рост, а кого — за хвост...» Строя рожу небесам, он стал говорить на языке, в котором не было будущего времени. Но вместе с будущим отступало и настоящее. Зато прошлое всё чаще вспыхивало углями в костре, и он грелся, вороша их хворостиной. Вот осветилось жирное лицо губернатора, которого погоня за голосами довела до инфаркта, мелькнули рябые, как курицы, деревенские, прошла вереница женщин, которых не было, но с которыми он был близок, вот

зачернели головешками ёрзавший без любви профессор и его жена, причащавшаяся от мышиной возни.

Годы, как чёрствые крошки, хрустели на зубах, превращаясь в густую, липкую жижу.

А профессор вопреки предсказанию не умер. Он овдовел. И теперь часто видел Демьяна во сне. Презирая и чертей, и ангелов, тот катил бочку мимо рая и ада. «Так честнее», — объяснял он. И профессор, ещё пьяный со сна, чувствовал себя Самокрутом. «Свой среди призраков — чужак на земле, — чесал он плешивую макушку. — Рождённый под луной — под солнцем умирает...»

От зимы к лету Демьян дряхлел больше, чем от лета к зиме. Он стал худее тени, чёрен лицом, как грех, и душа в нём цеплялась за скелет. Раз ему в руки попала Библия. Неграмотный, он вглядывался в буквы, как в морщины, силясь прочитать то, что было за ними. И ему вдруг открылись страницы предательств, мёртвые боги, вереницы страданий и бесконечная скорбь. От невероятной жалости к людям его нос заходил, как челнок в бурю, а ресницы захлопали, как двери. Он увидел, что люди изобрели множество вещей, которые мешают им прозреть, точно глаз, который вынимал упырь. «Одним глазом человек видит мир, другим — себя, — понял он, — когда упырь ошибался, оставляя не тот глаз, люди слепли, видя только себя. Они держались за свои дома, как улитка за раковину, и думали, что вещи, как вавилонская башня, возносятся на небеса, но носили их, как горб...»

Умер Демьян во сне. Ему снилось, будто он идёт по базару, посреди изобилия ненужных ему вещей, в поисках лавки, которой там не было. «Седина? Лысина?» — скороговоркой спрашивали впереди, запуская руку в расписную торбу. Демьян хотел, было, попросить новую бочку и вечность для размышлений.

Однако его упредили: в этот момент он испустил дух.

РОДСТВЕННИК

— **Н**адо бы санитару...
— Обожди... Ему ведь больше не понадобятся...

Уперев в пол костыль, Харитон стал шарить по кровати, вывернул карманы, залез под рубашку:

— Вот, зараза, — ни рубля, ни креста...

Арсения привезли вечером, и он застал его в бреду. По равнодушию врачей он понял, что сосед не выкарабкается. Щуплый, жалкий, он казался ребёнком на огромной двуспальной кровати, хозяина которой расстреляли, забрав дом под военный госпиталь. Арсений покосился на восковое, пожелтевшее лицо с выпиравшими скулами, на костенеющее тело, ставшее по смерти ещё меньше.

— Надо бы санитару...

Харитон уже повалился на койку.

— Да надрались с вечера — дрыхнут... Утра придётся ждать — утром обход...

Комната была в лунных пятнах, за окном чернели яблони, скребли ветками крышу. Говорить было не о чем, но присутствие мертвеца придавало тишине мрачную торжественность.

— Чёрт, теперь не уснуть...

Арсений потянулся за сигаретой. И скривился — на бинтах выступила кровь.

— Давно в горах?

— С год...

— Что же ты, «жмуриков» не насмотрелся? Прикрой одеялом — и все дела...

Говорили поверх мертвеца, негромко, точно боялись разбудить. Харитон перебросил подушку в ноги, облокотившись на спинку кровати с приколотой бумажкой: «Х. Дрель, прапорщик».

— А мне их с детства довелось таскать... Места у нас глухие, тмутаракань... Помню, в кабацкой луже лежал человек лицом вниз — из спины финка торчит. Так вот пока протокол составляли, кто-то при всём честном народе спёр нож и пропил в кабаке...

Харитон хрипло рассмеялся.

— И чего ты его разглядываешь — чай, не шевельнётся... Ладно, кинь махры — сам накрою. К смерти, как к жизни, привычка требуется...

Одеяло, прикрывшее мёртвое лицо, оказалось коротким — вылезли голые ступни, и Харитон растянул его по диагонали.

— Да, к смерти привычка нужна, а здесь — кому как выпадет...

Боль отступила, Арсений курил, привыкая к молчанию, слушал, как яблоки бьют на ветру о стекло, но прапорщик вдруг зашептал, тяжело играя желваками:

— У моего однокашника, Филофея Гридина, отца на глазах убили. Здоровенный мужик был, кузнец, мог наковальню, как бабу, на вытянутых руках нести, а ему топором по затылку. А убийца — приятель его, Тимоха Бородич, хутор у запруды держал. Уж чего они там не поделили? Отец Филофея каждый день из кузни через мостки шёл, а мы из школы возвращались, так вот на этих мостках и увидели смерть...

Харитон почесал лоб, переживая прошлое:

— В деревни все наперечёт, знали, чьих рук дело, но поди — докажи...

— А почему ж не заявили? — радуясь разговору, спросил Арсений.

— Последнее дело! О себе каждый сам должен печься — даже на собственных похоронах... — Прапорщик загоготал. — Или ты думаешь: буду тонуть — руку протянут?

Арсений отвернулся.

— Ладно, не сердись... Это я вспомнил, как Филофей в воду бросился: отца на руках держит, каменеет... Я — помогать, сердце колотится, голова в тумане... И слышу, бормочет кто-то... А это Филофей клянётся отомстить...

Харитон закашлялся:

— Хороший у тебя табачок, лейтенант, только наш са-мосад крепче.

Арсения ранило в руку, и он представлял, как поедет к родне, где его будут встречать, как героя. Харитона он слушал с интересом, но без сострадания — когда брезжит счастье, чужая судьба не кажется горькой.

— Семьи у нас большие, ртов — не сосчитать. У Бородича на хуторе росли четверо сыновей, ровесников Филофея, а ему не повезло — три сестры, чего взять?.. Получилось, Филофей — единственный кормилец. Школу он бросил, впрягся в хозяйство, как вол. Ложился с совами, вставал с петухами. И всё — чтобы сестёр поднять... Помню, мальчишками считали мы кукушку в лесу — немного ему отмерила... Ходили и к цыганке. «Заботливый ты, — водила она кривым ногтем по Филофеевой ладони, — жить будешь с родственниками на руках, а умирать на руках у озлобившегося родственника...» Как в воду глядела!..

Харитон устался в стену, но Арсений не подгонял — ночь длинна.

— Слабого и комар обидит. «У, зверёныш! — грозили Филофею Бородичи. — Придёт и твой черёд!» Рос он кряжистым, в отца, да Бородичи тоже не промах, к тому же четверо — не совладать... Раз не сдержался, — налетели кодлой, а младший завизжал: «Кровью ответишь!» И всадил в ладонь перочинный нож... С тех пор Филофей терпел и работал. Днём — хмурый, слова не вытянешь, а ночами зубами скрипел. Но старался не зря: сестёр на ноги поставил. Младшие в город подались, а старшая за меня вышла. Это сейчас я седой весь, а был — как воронье крыло... Так мы с Филофеем породнились...

— И меня дома невеста ждёт... — вставил Арсений, трогая нагрудный карман. — С каждой почтой — фотокарточка...

— Смотри, лейтенант, — осклабился Харитон, — верно, ищешь в ней то, что есть в каждой бабе...

Арсений сплюнул.

— Ну-ну, охолони, — переложил костыль под руку Харитон, — грех на калеку кидаться...

Он часто задыхался, и Арсений опять подумал, что скоро будет далеко от этих проклятых гор, где дерутся даже в лазарете. И ему стало смешно.

— Ну, чего замолчал, продолжай, раз начал...

— Не понукай — не запряг! — огрызнулся Харитон. Но молчать и ему было невмоготу. — Хочешь слушать — не ёрзай! Свадьбу мы неделю играли: самогона — река, родни — море. Гуляли, аж гармонь треснула, всё гадали, как будем детей крестить... А тут смутные времена подошли. Филофея в армию призвали, а Бородичи в бандиты подались. Года три от него вестей не было, всякого надумались, из родни-то его только отец с пробитым черепом во сне и навещал. Торопил час расплаты, и про долг Филофей не забыл... Ночью раз стук в окно, я высунулся, а из темноты голос: «Ну что, зять, помогай!»

И «калаш» прикладом подаёт... Как было отказать? Обулся наспех, жену поцеловал — и во двор... Младший Бородич, узнав, что с братьями стало — с ума сошёл, пишут — и сейчас в психушке. А старого Бородича мы не тронули — пусть мучается, что семя его на земле не прорастёт...

Ветер усилился, ветки с остервенением заскребли по стеклу, и Харитону почудилось, что это опять стучится Филофей. Он мотнул головой:

— Жестоко сработали... Уж столько потом крови перевидал, а всё думаю — не пролей я тогда первую, может, и жизнь по другому повернулась... Как считаешь? Но не предавать же его было? А после, куда деваться — с ним ушёл...

— Значит, старику можно было убить, а вам — нет?

— Так он же тайком, а мы — прилюдно! Филофей настоял, чтоб все знали... И этим дорогу назад отрезал: мать навестить не мог! А какое ей утешение глядеть, как старый Бородич спивается? Вот и получается: молодость горячится — старость расхлёбывает...

Харитон махнул рукой. От его бравады не осталось и следа.

— «Жить хорошо там, где хорошо жить», — балагурил Филофей, связывая узелок. Сильный он был — мог всё бросить и в одной рубашке уйти. А сильные долго не живут, это слабые век на горбу тащат...

Луна бледнела, близился рассвет.

— Слышь, лейтенант, кинь ещё махры, хороший табак — слезу прошибает...

Харитон протыкал щетиной сизые кольца, на постели дрожали тени, и Арсению чудилось, что прапорщик раскачивается в дыму, как на волнах.

— Вместе с Филофеем нам много чего довелось... Он уже до ротного дослужился, но чуть что — лез под пули.

Упрямый был, бесстрашный и за своих — горой! Перед начальством, помню, кулаком в грудь стучит, красный... И через слово приговаривает: «Не будь я Филофей Гридин!» Однако ж и его жизнь пообломала... В южной стороне подцепил лихоманку, высох — не узнать! Хотели комиссовать, но вошли в положение — бродяга, ни кола, ни двора... Так и оставили до первого боя...

— А сёстры? — удивился Арсений. — Родная ж кровь...

— Сёстры давно замуж выскочили... А кому больной нужен?

Заглянув в окно, луна в последний раз осветила покойного, скользнула по застеклённому фото расстрелянного хозяина дома.

— Да, вот так живёшь, родню принимаешь у себя, а приходит день, понимаешь, с кем стол делил...

Звёзды поблекли, исчезая, терялись в бескрайних далях. Арсений молчал, представляя отчаянного ротного, его родителей, вспоминал своих, приросших к сбережениям, болезням. «У них, видно, и любовь расчётлива, — думал он. — И ненависть...»

Но гнал эти мысли.

— А почему ты жену не заберёшь? — подбросил он в гаснущий разговор.

— Нет больше жены, — угрюмо проворчал прапорщик. — Бабы все одинаковые: провожают — плачут, а ты за порог — на другого глядят... Вот ты, лейтенант, верно, смерти боишься... Не маши, не маши! И я раньше трусил... А сейчас — чего терять? Может, там лучше?..

Громыхая костылём, Харитон взобрался на подоконник, перегнувшись, сорвал яблоко и принялся грызть с мрачной сосредоточенностью.

— Везучий ты, лейтенант, домой поедешь, женишься... А я куда — домой нельзя, калека... И всё из-за той ночи!

Арсения залила краска, ему стало неловко за своё безусое лицо, за невесту, лёгкое ранение.

— Однако не любишь ты шурина...

— А за что? — кусая губы, закричал прапорщик. — Жизнь мне сгубил и в смерть за собой тащит! А ведь я не старый ещё, не старый...

Двор уже пробудился — густо жужжали шмели, лаяла собака. По глухому мотору Арсений узнал машину, на которой привозили раненых — предстояло тесниться.

Дверь распахнулась без стука, будто райские врата.

— Ну что, подранки, выздоравливаем?

На лице санитара солнце смешивалось с улыбкой.

— Потихоньку, командир, — козырнул прапорщик, к которому вернулось прежнее ухарство. — У нас вот койка освободилась: ночью умер Филофей Гридин...

ЗОЛОТО, ЛАДАН И СМИРНА

«*М*ой отец был разбойником. Он был толст и, когда римский легионер проткнул ему живот копьём, схватился за древко, чтобы всадить глубже — и достал убийцу клинком!

Я, Страдий, проворнее. Я рублюсь так, что враги не замечают, как превращаются в крошево, а дротик мечу на стадию дальше его тени. Моя слава пересекла границы трёх царств, преодолев барьер семи языков, а в бездонном прошлом моей родины уже не осталось героев, с которыми бы меня не сравнивали. «Будь храбрым, как Страдий», — благословляют сыновей суровые матроны. «В бою держитесь Страдия!» — ободряет гоплитов стратег. Но историю война пишут шрамы, и на теле у меня ран больше, чем звёзд на небе. Ночью у костра они поют на тысячу голосов. Обожжённый бессонницей, я слушаю их крики, зная наперечёт — эту нанёс этруск, пустив пращей камень, эту — косматый германец, вызывавший наших на поединок, прежде чем я заткнул его хвастливую глотку. Но больше других меня донимают головные боли. Точно тысячи стрел вонзаются в мозг, сотни жал впиваются в макушку, когда я ворошу угли слабеющей рукой или бегу в чашу, чтобы найти минуту забытья в густых зарослях цикуты. Слово все удары, нанесённые мною, вдруг вернулись ко мне, как возвращается к нам во снах прошлое, от которого нет щита.

У болезней свой звук: раньше в моих одеждах звенело серебро, теперь — склянки с лекарствами.

А вчера мне передали приглашение. Тысячелетия ойкумена полнится слухами об искусстве египетских лекарей, известнейший из которых Та-Месхет. Хвала Зевсу, он послал мне звезду, блуждающую в Рыбах, берясь исцелить недуги. И вот я бреду сквозь равнодушное пространство, спотыкаясь о боль, наперегонки с немощью...»

«Моё имя написано на облатках тысяч проглоченных пилюль, я — Та-Месхет, знахарь, который не может исцелить себя.

Мой отец варил зелья и сушил травы, и отец отца. В моей голове сотни рецептов, которые они не доверили папирусу, а в одеждах вместе с чашками лекарств звенит золото. Но оно мне противно. «Лечить людей, что бальзамирывать мумии, — думаю я, когда ставлю пиявок или выпускаю чёрную кровь. — От болезней я вылечил множество, от смерти — ни одного...» Я не смог спасти дочь, когда буйствовала жёлтая лихорадка, мои снадобья оказались бессильны против обрушившейся чумы. О, сколько раз я видел гниющие тела, сколько раз слышал предсмертные хрипы! Больные, высохшие скелеты толпились у моих дверей — я и сейчас вижу их вереницы — приговорённые, они жаждали чуда. Но мне не сократить очередь, бесконечную, как Нил! А раз так — я палач, продлевающий тление. «Зачем поддерживать муку, если смерть — избавление?» — колет меня очевидная бессмысленность. «Жизнь — горькая настойка, лучше пить её залпом», — шепчет мне ночь.

Перекручивая позвонки, я ворочаюсь на грубой циновке и не нахожу ответа.

А вчера я получил приглашение. Лерния, самый известный среди иудейских мудрецов, обещает вынуть занозу. Хвала Амону, в скоплении Плеяд он указал мне звезду,

и я бреду за ней торными дорогами, путая рождение со смертью...»

«Я — Лерния, уставший от болтовни. Мой отец перебирал чётками священные книги — трухлявые свитки, — и мой дед. На свете много слов, и они торопились произнести их все.

Я тоже победил во множестве диспутов — в каждом из которых проиграл. Ибо убедился: это — суета! Пока меня умащали благовониями и курили вокруг фимиам, неизбывная печаль тяготила мне сердце. «Сумма дней моих — тень», — говорит проповедник. Но где то солнце, которое её отбрасывает? Я достаточно искушён в словах, чтобы не поддаться их искушению. Воистину, перебирая, как бусы, метафоры, множишь скорбь...

Ко мне приходят страждущие, я и сейчас вижу их — раз-уверившиеся, отверженные, они ждут чуда. Но я не верю в богов, ни в милостивых, ни в жестоких: судьба семенит поодаль, предоставляя подбирать за ней следы...

Я легко убеждаю других, но мне не убедить себя. Золото — суета, а мудрость — томление духа, им об-им не спасти от отчаяния. «К гробу сундук не придела-ешь, — учу я в синагогах, — богатство — это приманка для невежественных». «А святость — ловушка для про-стаков...» — добавляю про себя.

В одеждах у меня давно гремит склянка с ядом, но меня удерживает страх. О, если бы в небытие можно было перейти незаметно и безболезненно, словно толкнуть дверь на женскую половину дома!

Но — хвала Всевышнему, в которого я не верю, — по увечьям наших воинов, вернувшихся из похода к слезам жён, я прочитал об искусстве греческого рубака. А вчера по астрологическим картам халдеев вычислил его звезду. Она сияет в созвездии Пса, и я иду на неё.

Страдий излечит меня. Коротким ударом меча...»

Этими исповедями открывается ранний византийский апокриф, с поразительным усердием выбитый на скале. Время оставило в нём проплешины, заставляя скакать по строкам, как птица по кустам.

Его следующий фрагмент повествует о скитаниях.

«...множество лун шёл я на юг, стаптывая сандалии и устраивая ложе из веток кипариса. Со стороны было видно, как молчаливо я карабкаюсь на безжалостные кручи, не замечая колючек и ссадин, как, шатаюсь и кровотока, преодолеваю пустыни, в которых песчинок больше, чем мгновений во времени. Я миновал деревни с высохшими колодцами, где мой греческий был в диковинку, и города, полные проказы. «Мир — это лабиринт, каждый коридор которого кончается тупиком», — думал я, продираясь сквозь бурьян, в котором легко потерять имя. Иногда мне казалось, я сбился с пути. Но ведь истина не в конце накатанной дороги, успокаивал я себя, а в отсеке боковой.

Меня пытались остановить. Свирепые, с бешено сверкавшими глазами, выскакивали из засад, как злые духи. Их вопли заглушали страх, их лица краснели, точно иссечённые крапивой, — теперь их клюют стервятники, для которых глаза — лакомство...

И в холод, и в жару я шёл, стирая подошвы, перепрыгивая через собственную тень, однако меня опережали сомнения. Белый свет устроен так, что глухие в нём хвалятся перед слепцами, немые — перед нищими, но я научился говорить, подражая рыбе, видеть глазами крота и слышать, как тетерев на току. Что, если Та-Месхет вернёт мне былую силу? Пускай я превзойду подвигами Геракла и зубами разорву на окраинах Империи множество варваров, — мне ещё раз повесят на шею лавровый венок. Но, кто не вчера возлёг к трапезе, знает им цену...

Глубокой ночью меня будит безутешный крик птицы. Помочившись на затухающий костёр, я гоню себя вперёд, уже не зная толком — зачем...»

«...оставляя за спиной цепочку мелких шагов, я продвигался на север. Скрылись из виду пирамиды, вокруг уже с трудом понимали речь с берегов Нила, а скорпионы от жары кусали себя. Мне попадались народы, у которых язык во рту просыпался по утрам раньше рук, и племена, у которых труд сросся с телом, как мозоль с ладонью. Но они значили для меня не больше, чем верблужья блоха.

Меня пытались задержать. Голодные, страшнее собственных скелетов, протягивали ко мне руки, хватая за края одежды, молили о куске хлеба. Я заговаривал язвы, высекая огонь кресалом, прижигал лишай и унимал жар наложением рук. Я кормил чёрной похлёбкой с отваром валерианового корня, и меня пропускали...

Ущербный месяц качался в сумерках, как серп, занесённый над полбой. «Сколько ещё колосьев пожнёт сегодняшняя ночь?» — стучало мне в сердце. Гость среди странников, пилигрим среди пилигримов, я иду за утешением, но что может поведать мне смертный? Путая бессмысленность закатов с бессмысленностью рассветов, я держу путь к себе, но меня не покидает чувство, что я, как дятел, лечу хвостом вперёд...»

«...всю первую четверть месяца нисана колесил я по Обетованной, убеждаясь: что на западе плохо, на востоке — безнадежно. Я видел, как бедуины в суверном ужасе хоронили волосы в жёлтый песок и поклонялись палке, воткнутой в конский помёт. Их язык настолько дик, что не выделяет «Бога» в отдельное слово, растворяя среди других. Их осёдлые соседи, наоборот, чрезвычайно

набожны. «Бог» в их языке вытеснил все остальные слова. Эти племена одинаково ничтожны...

Мой путь лежал также мимо земель, где едят змей и ещё не умеют пользоваться словом. Здесь я встречал множество пророков. Коверкая Писание, один гордился тем, что его губы не оскверняла правда. «Наша судьба горька не из-за желания богов, — вопил другой, — а из-за нашего нежелания стать богами!» Он ждал возражений. Но я молча кивнул. К чему оспаривать ложь, когда не владеешь истиной?..

Меня пытались остановить. Верещали сороками, выкрикивая ругательства, наскакивали с мечами. Но словом я владею лучше, чем они клинком. Я наговорил им с три короба, и они ещё долго провожали меня взглядом, разинув рты, пережёвывая мою болтовню...

Я бреду, словно Моисей по пустыне, и мысли мои — как разбитый кувшин...»

«Словно слепцы — поводыря, слушали они Голос, — сообщает следующий отрывок. — А звезда над головой каждого, губкой, вбирала тьму и дрожала так, будто небо поправляло монокль».

«...по земле я прошёл расстояние, на котором могла затеряться птица, а в мыслях — и того больше. Куда приведёт звезда? Сматывая с клубка моё будущее, льёт она свет, и я покорно иду за нитью Ариадны.

«О, Страдий, — раздаётся иногда, — ты всю жизнь торопился, наступая себе на пятки, оставаясь на перепутье...»

Подняв голову, чуждый себе, я тогда думаю: «Отчего моя звезда одиноко мерцает, хотя звёзд на небе — как саранчи?» И представляю императора, который, задрав тунику, чесал бы в смущении живот, спроси я его об этом.

А потом вижу распятых мятежников, улыбку палача, гладиаторов, которых не успевали обучать — так быстро они видели опущенный палец, бурые пятна на опилках цирка, окрики центуриона, лживые объятия гетер и децимацию после проигранной битвы, я слышу бич на спинах рабов и как, качая ногой зыбку, поёт мне кормилица: «Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков...» Воспоминания давят тяжестью каменоломен, и мои кости ноют с новой силой.

По искусно залеченным ранам под лохмотьями путников я догадываюсь — мой спаситель где-то рядом...»

«...ветер, заметая следы, догоняет меня и, пронизывая насквозь, гуляет в складках хламиды. «Время ли, пускающее волну за волной, придумало смерть, — размышляю я, — или её изобрело пространство, выталкивающее нас из себя, как вода?» Я воображаю растерянность на невозмутимом, как маска, лице фараона, обратиться я так к нему.

Дорога насытила мой взор, но не ухо. Я разговариваю с самим собой, и мои вопросы, как путевые столбы.

«Ты убегаешь от безумия, Та-Месхет, но себя за волосы не поднять...»

Точно око между рогами Аписа, на меня смотрела звезда. Измученный, с пересохшей гортанью, я был мотыльком на острие иглы. Но Лерния, мой избавитель, близок, я повсюду натываюсь на осколки его слов.

Хромая, точно не в силах вправить вывих, преодолеваю я реку быстротечного времени, а впереди судьба — как крокодил на песке...»

«...я шёл навстречу короткому мечу Страдия и с языческим упрямством размышлял, почему одни гордятся тем, что родились в субботу, другие — тем, что родились, третьи — своей гордостью? Я представил молчание

синедриона и усмешку наместника, поведай я им свои мысли. И тут услышал голос: «Лерния, Лерния, ты отгородился от себя частоколом слов, однако носишь под сердцем страх, как пустой желудок...»

«Слова превращают горчицу в мёд, а правое в левое», — пробормотал я, втянув голову в плечи. И вздрогнул: на меня, не мигая, глядело всевидящее око. Безмолвное, оно превращало в соляной столб, и я, Лерния, сын фарисея, потеряв на мгновенье «я», почувствовал себя героем чужого сна. Может, это спят звёзды? Я сосредотачиваюсь на тишине, пытаюсь нащупать бреши в их молчании...

А по трупам, коченеющим в оврагах под стаями падальщиков, я ощущаю дыхание Страдия, который положит этому конец...»

Затем источник сообщает, что в семье путников родился ребёнок.

«Был день сатурналий, когда звезда, наконец, оставилась. Она дрожала над хижинкой, рядом с которой несли ночную стражу пастухи. «Что это?» — спросил я вышедшего вместе со мной человека. «Я знаю столько, что мне не стыдно признаться в незнании», — ответил он, осветив лицо узкой улыбкой. Я обнажил меч. «Слово острее булата», — тронул он мои ножны. Я застыл в нерешительности. «Там альфа и омега», — указав на завешенный овчиной вход, подсказали нам пастухи. Шагнув к нему, мы чуть не наступили на спящего, безрассудно подставившего лицо луне. «Кто там?» — спросили мы у него. На веко ему села муха и, путая с ресницами, стала потирать друг о друга лапки. Спящий не шелохнулся. «Исцеляющий и воскрешающий!» — ответил вместо него дюжий забойщик скота. На его окровавленный нож

налипла овечья шерсть. Тускло блеснуло лезвие, пустив «зайчика». Спавший встрепенулся. Муха взлетела. «Да это Та-Месхет!» — догадался я. Но до чего же он жалок! Клянусь Зевсом, я шёл напрасно: он не может вылечить даже себя... Кто же тогда прислал звезду? «Тот, кто принёс не мир, но меч», — простодушно заметил пастушок, отложив свирель.

Три созвездия слились над нами, когда мы застыли перед входом в клеть...»

«Был праздник урожая, когда измотанный мыслями, я вышел к месту, над которым повисла звезда. Правы философы: длить жизнь — длить агонию, заставляя умирать множество раз. Вот пятнеет овчина, за которой я, возможно, вновь обрету спокойствие, получив ответ, но у меня уже нет сил и желания выслушать его. Я рухнул у порога, не позаботившись даже уткнуть лицо в ладони — пусть луна вселит в меня жёлтую лихорадку, положив конец усталости. Но моё беспамятство внезапно оборвалось. «Исцеляющий и воскрешающий!» — ворвался в него огромный детина, разделявая овцу. Надо мной склонялись двое. Я смотрел на них ровно столько, чтобы глаза привыкли к темноте, а губы — к безмолвию. По умному, пронизательному взору я узнал в одном Лернию. Но его вид казался растерянным, он был удивлён и напуган. «И этот несчастный должен был утешить меня?» — безразлично подумалось мне. Дорога привела в пустоту. Но кто же тогда направлял звезду?

«Тот, кто принёс не мир, но меч», — произнёс златокудрый мальчик.

И в его глазах засветились неземная радость...»

«Была ханука, когда, вслед за Страдием — такую гордую осанку больше не встретить в этих местах — я вышел

к ослиным яслям. «Что это?» — спросил он. «Я знаю столько, что мне не стыдно признаться в незнании», — нацепил я змеиную ухмылку. Расчёт оказался точным — он вынул меч. «Песчинка, унесённая ветром...» — уже творил я короткую молитву. Но странно: я перенёс столько напастей, терпел голод и утолял жажду собственными слезами, а теперь ко мне вдруг вернулось желание жить! Во мне пробудилось любопытство, и я больше не искал смерти. «Слово острее булата», — достал я своё оружие. Он застыл в смущении. «Там альфа и омега», — оборвали наш поединок пастухи, указав на ясли, над которыми сияла звезда. И я понял, что перед нами — бездна, на дне которой тайна тайн. Или это калитка в Ничто? Но кто тогда зажёт наши звёзды? «Исцеляющий и воскрешающий!» — провозгласил детина с ушами, как крылья летучей мыши. Он зарезал овцу и теперь вытирал нож о хитон. При его словах спящий у порога встрепенулся, сидевшая на его веке муха слетела, и я увидел, как Страдий узнал в нём того, кого искал. На мгновение у него промелькнули удивление и гнев, которые сменили столь знакомые мне разочарование и презрение. Он сразу осунулся, а я с ужасом подумал, что ещё вчера мечтал погибнуть от руки этого измождённого человека. Но кто дарит жизнь? И кто рвёт её нить? «Тот, кто принёс не мир, но меч», — выдохнул игравший на дуде мальчик с глазами ангела...»

На этом история обрывается. Её окончание, иное, чем у Оригена и Клементя Александрийского, представляется мне таким. Волхвы ещё долго стояли перед дверью, из-за которой пахло молоком и сеном. Но войти так и не решились. Они чувствовали себя втайне избранными, послами всех отчаявшихся и безмерно уставших. Они пришли, стерев о репейник имя, потеряв лицо в пыли дорог, и вдруг поняли, что все люди — один человек,

как три звезды — одна. Кроты, алчущие света, они приблизились вплотную: от истины их отгораживала только овчина с чёрными клочьями. Но они не увидели, как за ней улыбался Младенец.

«Будущее всегда в яслях, — изрёк один из них. — В него остаётся верить...»

«И надеяться...» — тихо вымолвил другой.

«И любить...» — прошептал третий.

Потоптавшись, они с поклоном сложили у входа самое дорогое, что было при них, — меч, лекарство и слово...

ПОМЕЩИК ДЫДЫШ-БОЛТЯНСКИЙ ЧИТАЕТ БОРХЕСА

Илларион Евграфович Дыдыш-Болтянский ехал в родное поместье. Скрипел наст, верхушки деревьев кололи солнце, а кучер залихватски пощёлкивал кнутом. Чтобы прибыть засветло, из города выехали ни свет, ни заря, но по дороге на них напали. Разбойников вместе с вилами было семеро, однако Илларион Евграфович когда-то служил в гренадёрах и с тех пор повсюду возил пистолеты. Отбились, потеряв шапки, но пришлось давать крик, к тому же косивший от рождения Матвей с перепугу свернул не на ту дорогу.

Илларион Евграфович заметно проголодался и уже жалел, что не прихватил ватрушек. «Желудочный звон почище колокольного», — думал он, перекрестившись, и, чтобы отвлечься, стал вспоминать писателя, имя которого было в городе у всех на устах, хотя его выговаривали с трудом. В салонах превозносили его заморскую родину — Илларион Евграфович забыл эту страну ещё в гимназии, — а гувернантка помещицы Остропико читала его вслух по-испански. Илларион Евграфович цокал языком и важно крутил брови. По-испански он только и понимал, что он не Фердинанд VIII, а у алжирского бея под самым носом шишка. Но его приятель Синичкин, слывший литератором, оттого что говорил, как писал, и сочинявший всему городу любовные записки, затащил его в книжную лавку. «Засиделся ты, душа, в своей Таракановке!» — назойливым

комаром пищал он, спускаясь в подвал. А там за разболтанной дверью вертлявый и горбоносый то ли грек, то ли еврей всучил Иллариону Евграфовичу томик в кожаном переплёте. «Хороший перевод, — спустив на нос очки, блеснул Илларион Евграфович, листая страницы. — И сколько запросишь?» Восточный человек себя не обидел. «Ишь, книжный червь...» — хмыкнул Илларион Евграфович. Но, испугавшись обнаружить невежество, кряхтя, расстался с ассигнацией. «Разрази тебя холера!» — думал он, подавая на прощание руку Синичкину. Зато теперь под собольей шубой в бок упиралась книга, помнившая липкие пальцы не то грека, не то еврея.

Звякали колокольчики, бескрайние поля сменяли бесконечные леса, и от этого клонило в сон. «Долго ли ещё, Матвейч?» — крикнул Илларион Евграфович для остратки и, не дождавшись ответа, приблизил буквы к близоруким глазам. И тут же поехал в книге по залитым солнцем равнинам мимо выжженных пастбищ, шальных табунов и утлых деревень, в которых пьяные пастухи тычут друг в друга ножи. Вот из трактира вывалились двое. Один сунул руку за пазуху, другой — за голенище. «У тебя там что-то есть, — процедил первый. — Доставай же, сравним...» «Ты уже убивал меня в предыдущей аватаре, — равнодушно возразил второй, — теперь мой черёд...» «Дурак, — подумал Илларион Евграфович, — в морду бьют первым!» И вспомнил Туречину, где стоял его полк: голые места, дикие народцы, их босых скакунов и храбрость до первого залпа. «Не балуй! — крикнул он по-испански. — А то живо к исправнику!» Пастухи упёрли в бок шляпы, прожигая насквозь глазами. Но ножи достать не решились. «Розог бы надо... — думал, отъезжая, Илларион Евграфович. — Культура не грибы — от дождя не вырастет...»

По бокам, конвоем, тянулись сугробы. У Иллариона Евграфовича защекотало в носу. Поёрзав, он залез

в карман и успел чихнуть в платок. Книга упала. Он полистал её с полчаса, но прежнего места уже не нашёл. «Какая, однако, толстая...» — пробормотал он. Матвейч затынул «ямщика». «Жизнь — долгая песня, — подумал Илларион Евграфович, — в юности её поёт страсть, в старости — немощь...» И сквозь дрёму ему стало чудиться, будто он, как Всевышний, лепит из глины Матвейча. Сердце, печень, драный зипун. Вот копной нахлобучил ему седой парик, подвёл дётем ресницы, перекошил глаза и бычьей кровью нарумянил щёки. Пристегнув Матвейча к вожжам, он потянулся за кальяном, любуясь на свою работу, когда вдруг почувствовал, что и его самого кто-то лепит в своём сне, как лоскутное одеяло, сшивая из кусочков теней, отделяет от сумрака, дёргая за уши, как морковь. Илларион Евграфович заклацал, было, зубами, но стука не услышал. И тогда с болью унижения понял, что и сам он только призрак, который видится во сне кому-то... «Ну уж дудки, — затопал он затёкшими ногами, — я своего отца знаю!» «Это мороз кусает...» — тёр он красневшие под воротником уши. Брызнул рассвет. Теперь он ел в трактире уху, и стерляжья башка, мутно скосив зрочки, вдруг повела скулами и зашипела по-испански: «Ну что, дядя, съел?» За окном прокукарекал петух. Но Илларион Евграфович после отставки любил понежиться, и в его деревне давно перерезали всех горластых петухов. И тогда он понял, что так и не проснулся, что его предыдущий кошмар, как в матрёшке, был запрятан в другом сне. «Лезет же в голову... — выругался он, снимая рукавицу и сморкаясь с саней. — А всё книжка...»

Однако, открыв на середине, стал читать дальше. На тайной вечере заговорщики отливают пули для губернатора. Но среди них предатель. Он выдаёт товарищей и, погибая, становится героем. «И что тут удивительного, — кашлянув в кулак, погладил бороду Илларион Евграфович, — присягу

нельзя нарушать. А бунтовщикам — виселица...» Он уже жалел денег и на чём свет поносил всех греков и евреев. «Любой пасечник лучше загнёт, — вертел он в руках книгу. — Не иначе Синичкин всем головы заморочил...» На повороте сани дёрнулись, накренились. Матвеич чуть было не слетел с козел, а Илларион Евграфович выронил книгу. «Держи ровнее! — заорал он. — Я же читаю...» Стряхнув снег, он захотел всё же разобраться, почему предатель стал героем, но прежней страницы опять не нашёл. «Ну и ладно, — плюнул он, — буду читать наугад...» Прижав к колену, затрещал страницами, будто карточной колодой, и невзначай откинул ногтем. «Илларион Евграфович Дыдыш-Болтянский ехал в родное поместье, — открылось ему. — Скрипел наст, верхушки деревьев кололи солнце, а кучер залихватски пощёлкивал кнутом...» Илларион Евграфович ущипнул себя за щёку и, не почувствовав боли, решил, что отморозил. «Это уж совсем скучно, — подумал он, — что тут можно вычитать, когда к вечеру буду в Таракановке...» И стал представлять, как разотрёт щёку водкой.

Они всё крутили и крутили, вёрсты налипали на сани, а по сугробам хохотали бесы. Книга Иллариону Евграфовичу уже порядком надоела, он стал зевать и теперь видел, будто в театре играет Гамлета. Вот является тень короля-отца, вот на его плече рыдает Офелия, а за занавеской, похожий на Матвеича, хитро щурится Полоний. И вдруг Илларион Евграфович замечает, что из тёмного зала кто-то одного за другим отзывает актёров, снимая их со сцены, будто шахматные фигуры. Спектакль сокращался, как шагреновая кожа, по краям которой были написаны роли, и, наконец, Илларион Евграфович остался один. «Быть или не быть?» — замер он на краю сцены и развёл руками, как огородное пугало. «Не быть...» — глухим эхом донеслось из темноты. И Иллариона Евграфовича охватил

ужас. Он вдруг догадался, куда исчезали персонажи: они умирали раньше срока потому, что за спиной Шекспира стоял другой автор, водивший его пером...

Илларион Евграфович чертыхнулся. Он уже не решался читать подряд, а выхватывал теперь отдельные предложения, как это делают девицы, гадая на святках. «Когда Бог создавал время, Он его создал достаточно», — попало ему. «Когда покос, у меня так лодыри зубоскалят», — рассмеялся Дыдыш-Болтынский. Но на него накатили вдруг странные мысли. Ему стало казаться, что он едет внутри гигантского яйца, скорлупа которого блестит, как снег, и никогда не доберётся до своей Таракановки. «Быть может, жизнь — это лабиринт, построенный вовсе не для нас, — наткнулся он в книге, — а в чужом доме напрасно искать дверь...» «Ну уж кукиш! — опять рассмеялся Илларион Евграфович. — Чай, к себе еду...» Однако ему было не до смеха. Чтобы узнать концовку, он захотел вернуться к рассказу о себе, слюнявя пальцы, судорожно комкал бумагу, но только насажал мокрых пятен. Тогда он уткнулся в заплатку на спине Матвеича, окликнуть которого не решился. Ему стало страшно. Он вдруг понял, что тот давно сбился и, боясь признаться, везёт его теперь, не разбирая куда.

«Судьба не бывает прямой, она всегда петляет, прежде чем привести на кладбище», — каркнула книга. Раньше бы он пропустил это мимо. Состроив друг другу рожу, так философствовали на сеновале его крепостные Андрей Фадеев и Фаддей Андреев, которых он вечно путал. «На то церковь есть, — грозил он им пальцем, — а самим мудрствовать всё равно, что тарашиться в чулане...»

Но теперь густели сумерки, снег лепил полозья, и глаза слепли от метели.

На минуту ему стало жаль себя, он вообразил разгорячённое лицо Синичкина, пересуды в дворянском собрании

и притворные вздохи дворни. «Барин-то, барин...» — запричитают деревенские бабы, а салонные дамы всхлипнут, опасаясь за напудренные носы. И Илларион Евграфович подумал, что весь мир — Туречина, где, как собаки, то грызутся, то лижутся...

Повисли звёзды. Но букв было уже не разобрать, как макушки Матвеича. У Иллариона Евграфовича посинели губы, а в усах путались сосульки. От холода у него не попадал зуб на зуб, но стука он не слышал. «Будто призрак», — подумал он и швырнул книгу в снег.

Замёрзшего Матвеича нашли только весной. Труп обгрызли волки, но его опознали по дырявому тулупу. Иллариона Евграфовича не нашли вовсе. Поползли слухи, будто он заблудился в книге, отыскав всё же рассказ о себе. Ведь прежде, чем приехать, он должен был прочитать о своём приезде. А прежде, чем дочитать — приехать...

ЧИСЛЕННИК

Одни следуют Библии, другие — Корану. Для Марата Стельбы такой книгой стал отрывной календарь. Ему уже была седина в бороду, а он всё не знал, как жить: думал больше, чем делал, и ходил, как тень. Долгими зимними вечерами Марат изучал философию и сравнивал религии, пока однажды за деревьями ни разглядел леса. «Христианину уготована нирвана, а буддист попадёт в Царство Небесное, — произнёс он вслух открывшуюся ему истину. — Главное не чему поклоняться, а как!»

И взял в путеводители ежедневник.

Он предпочитал карманное издание, которое помещалось синицей в руке, обещая журавля в небе. На передней стороне каждого листка значилась дата, фаза луны и заход солнца, а на обратной — указания на день. На самом деле календарь содержал разную смесь — от поваренных рецептов до исторических памятков, — так что его толкование давалось с трудом. Но со временем Марат поднаторел не хуже цыганки. Изю дня в день он слепо подчинялся наставлениям, смысл которых оставался для других туманным. Он держал численник в отхожем месте и заглядывал в него по утрам, справляя нужду. «Будущее всё равно обманет, лучше узнавать о нём между делом», — ворчал он, мысленно составляя дневной распорядок. И в нём усердствовал. Если читал о беге трусцой — носился, как

угорелый, если речь шла о достоинствах вин — напивался. Марат никогда не забегал вперёд, не позволяя себе листать численник, поэтому каждый день готовил ему сюрприз. Он жил, что называется, «с листа»: то целый вечер бился над пасьянсом или чинил по инструкции испорченный глобус, то спал сутками напролёт.

Через год, когда численник заканчивался, Марат покупал следующий, первый попавшийся.

Стратилат Цибуль не был похож на человека, родившегося в глубинке. Его мысли были тем более не похожи на мысли человека, закончившего там школу. Он думал не так, как думают имеющие за плечами университет. И в зеркале был совсем не похож на себя.

Осенью ветер задирал подол листьям, и по деревьям пробегали волны света. Стратилат ловил на даче короткие октябрьские дни, ходил на станцию встречать свою тень и, чтобы не замочить ботинки в медвяной росе, нёс их, привязав шнурки к пальцам. Как-то он сидел на веранде, завернувшись в плед, слушал, как по крыше скребли еловые ветки, и перебирал в мыслях тех, кем бы мог стать, но не стал. Морщины резали ему лоб, он перелистывал на коленях свою ненаписанную книгу, и ему казалось, что с годами он мудреет.

— Это не ты мудреешь, — поправил его незнакомец, опускаясь в шезлонг напротив, — это мир на глазах глупеет...

Стратилат отложил книгу на стол, открыл, было, рот, но тут понял, что незнакомец прав, что он идёт с миром в противоположных направлениях.

Гость забарабанил по подлокотнику.

— Тебе ведь попадались книги в различных переводах? — облизал он сухие губы и, переломив язык, коснулся нёба. — Кажется, что их написали разные люди,

а между тем, автор — один. Так и Господь говорит из века в век одно и то же, только переводчики у него разные...

Стратилат всплеснул руками:

— Да кто Его поймёт? Рождаемся слепыми, умираем глухими... — Растопырив пальцы, он посмотрел на ладонь, пересчитав все линии, но не увидел за ними ничего. — А тот, кто понимает — не в силах перевести...

Он поднял глаза. Веранда была пустой, и только ветер перелистывал растрёпанные страницы.

О крышу ударила еловая шишка, Стратилат вздрогнул — он спал, свернувшись калачиком, подложив вместо подушки стопу книг.

Некоторые страницы содержали советы женщинам. И тогда Марат красил губы и пудрился. Его секта насчитывала одного человека, но Марат не смущался. «Нет разницы, что исповедовать — главное искренне, — твердил он с упрямством попугая. — Людей, как и псов, можно натаскивать даже на чучелах...»

Постепенно численник стал его молитвой, его десятью заповедями, его богом. Записи в нём, случалось, противоречили друг другу, но Марат и в этом видел символ. «В реке только русло и знает своё место», — крутил он седые усы, поклоняясь самой жизни и её движущей силе — времени. Сверяясь с руководством, он неделями постился, а в полнолуние разговлялся, соразмеряя аппетиты с луной, с которой они вместе росли и были на ущербе.

Так он и жил в скорлупе «сегодня», полагая, что выбирать будущее — значит гадать на кофейной гуще.

И только сны не подчинялись численнику, в них он много раз рождался и столько же умирал.

«Календарь снится к разочарованию, — читал сонник Стратилат Цибуль. — Если во сне вы листаете

численник — быть беде, отрывать его — к пустым хлопотам...»

Зачастую численник содержал расхожие истины, пух от житейской мудрости, и тогда Марат сыпал, как горох, анекдоты и сорил банальности.

«И белая ворона, бывает, сереет», — думал он.

В такие дни он не отличался от окружающих и был счастлив.

Авессалом Люсый был молод и ершист. По этой причине в семье его считали паршивой овцой. «Мать от слова “жрать”, отец от слова “триндец”!» — огрызался он. Но одной рифмой от близких не отделаешься, и однажды он ушёл из дома.

Марат подобрал его на улице, когда он вместе с кошками мок в подворотне под дождём. Первое время они ладили, но потом Марата стала раздражать его практичность. Казалось, они поменялись возрастом, и Авессалом был в два раза старше. «Каждому поколению плевать на другие», — молчал Марат. Но Авессалом читал его мысли.

— Вот-вот, бедные-несчастные, — брызгая слюной, скалился он, — проели свой хлеб, промотали, профукали чужое будущее, а нам теперь расхлёбывать!

Марат вскидывал руки, но палача было не остановить.

— Правый сапог от левого не отличаете! — рубил он. — Тогда лапу сосали, думали, хуже вашего времени и быть не может, а вышло — ещё как...

— И в раю, верно, думают, что в аду сидят, — вставлял Марат.

Но Авессалом пропускал мимо ушей:

— А теперь локти кусаете, — гнул он своё, — ваши планы так и остались на бумаге, ваши идейки носились в воздухе, да так никуда и не вылились...

— Откуда ты знаешь? — взывал к милосердию Марат.

— Знаю, — добивали его, — все вы маменькины сынки!

И Марат нёс в ванную свою отрубленную голову.

— Война — тоже диалог, — под капель умывальника успокаивал он себя, опустив щеколду.

Проходил час, другой.

— Ладно, не сердись, — раздавалось, наконец, за дверью. — Это я так — мне твоя жизнь, в сущности, по барабану...

В юности Стратилат Цибуль был очень деятельным. Он мечтал летать на работу, как птица, а бегал на неё, как псина. Но с тех пор много воды утекло. Подмечая за ним странности, от него быстро освобождались, и он шёл на улицу вместе со своим креслом. Теперь он кропал статейки, у которых был единственным читателем, и писал в стол романы, от которых ломило зубы. Он говорил: «Я не продаюсь». Но его не покупали. Он гордился, что не похож на других. Но был интересен только себе.

Так и шла череда его дней, бессмысленная, как численник.

Луна была в Рыбах, ночь пришла вперёд звёзд, которые были бесконечно далеки от своих отражений в воде.

— Хорошо быть приговорённым, — захлёбывался желчью Марат, — знать, что тебя повесят и встретить смерть лицом к лицу. Ночь длинна, можно подвести черту, больше не лгать, не страшиться, не плакать, не надеяться...

— Только не забудь справить нужду, — бурчал Авессалом, беззлобный, как старая крапива, — а то на верёвке обгадишься и сдохнешь под собственную вонь...

Сумрак наслаивался на сумрак, как масло на хлеб, ночь лютовала, и только копеечная свечка храбро сражалась с ней.

С тех пор они не разговаривали, оставляя друг другу записки.

«Ох, до чё ж ты нервный, дядя, — рубил Марата размашистый, как сабля, почерк, — чисто муха на стекле...»

«О тебе пекусь!» — оправдывался он. Но его приканчивали грамматикой: «Ой, тока не нада этова другим задвигай эту фишку а мне лутше бабки оставь...»

И Марат чувствовал свою вину. Авессалом был его сыном, который после развода взял фамилию матери.

Первого января Марат приобрёл новый численник. Заспанный, чернявый продавец долго его расхваливал, горбясь на стуле, выставлял достоинства перечислением недостатков, которых он не содержал. Он мял календарь в руках, словно от этого росла его стоимость, так что, когда назвал цену, чуть было не упал со стула. А провозжая, хитро подмигнул. «Все мы заложники чужих хроник», — услышал себе вслед Марат. Обернувшись, он ещё раз окинул взглядом пыльную лавку с покосившимися от книг шкафами и продавца в чёрном платье, скрестившего руки на животе. А дома не удержался. Изменяя правилу, открыл календарь и прочитал на первой же странице: *«Одни следуют Библии, другие — Корану. Для Марата Стельбы такой книгой стал отрывной календарь»*. И дальше не мог оторваться. Это был рассказ о его затее, повесть, в которой он действовал, как литературный персонаж.

«Одни закладывают жизнь двуглавному идолу — семье и работе, — читал он, — другие посвящают её Богу, третьи — пускают на самотёк. Перепробовав все рецепты, Марат выбрал самый абсурдный, вручив судьбу календарю. Он доверялся его подсказкам, его тёмным пророчествам, в которых был себе и жрец, и жнец, и на дуде игрец. Он в прямом смысле жил «с листа»: то целый вечер бился над пасьянсом

или чинил по инструкции испорченный глобус, то спал сутками напролёт. Жизнь — это бег с препятствиями, а Марат, вместо того, чтобы перепрыгивать, обходил их. Но если раньше он страдал от своего бессилия, то теперь нет».

Марат скрёб ногтем страницу за страницей, натываясь, как на иголки, на дни, подчинённые календарю, воскрешая прошлое, которое с каждой строкой приближалось к настоящему.

«Все мы заложники чужих хроник», — подводил черту численник.

Читать дальше Марат не решился: знать будущее — значит уже прожить его.

Схватив календарь, он бросился в лавку.

Продавец уже вешал замок, потянув на себя дверную ручку, доставал из широченного кармана ржавые ключи. Марат открыл рот, но слова застряли в горле. «Подержите!» — сунул ему ключи продавец, продолжая возиться с замком. Марат застыл, как вопросительный знак, слушал скрежет железа, и ему хотелось вклеить продавцу пощёчину. Но обе руки были заняты. Наконец, лавочник освободил их, взяв численник, который опустил вместе с ключами в карман.

«И правильно, что не стали дочитывать, — зевнул он, возвращая деньги. — Ничего любопытного — все помрём...»

И повернувшись, застучал каблуками по мостовой.

Каждый брак снаружи ужаснее, чем изнутри. Как город после бомбёжки, он кажется пустым и мёртвым, но под развалинами ещё теплится жизнь, там ползают калеки, которые прилаживают увечья к костылям, пытаются выдать протезы за живую плоть.

Стратилат Цибуль был женат. «Мир стоит на трёх китах — зависти, похоти и корысти, — задирали он вверх

палец, расхаживая по кухне в рваных тапочках. — Он взывает к животу, а одет в пошлость и лицемерие...» Слушая про устройство Вселенной, домашние крутили ему у виска. Квартирка была тесной, денег Стратилат приносил — кот заплакал, и его сослали в детство — деревню, откуда он был родом.

Бог творил русскую природу со слезами, разводя сырость да слякоть, а Стратилата мучил ревматизм. Осенью он погружал ноги в муравейник, сидел с перекошенным ртом, а после, пугая ворон, носился по лесу — сверкая пятками, разгонял кровь.

«Это юность тратится направо-налево, — приговаривал он в такт шагов, — старости здоровье, ох, как понадобится!»

И молился о том, чтобы умереть в добром здравии.

Стратилат всё чаще разговаривал с собой, доживая на выселках, убеждал себя, что весь мир — окраина, а центр Вселенной находится там, где наше «я». Он ещё надеялся, что его жизнь, как подсолнух, повернётся к солнцу, не в силах смириться с бездействием и словами, от которых ни холодно, ни горячо. Но временами его озаряло.

«Неправильно жил, раз никто не любит... — сморкался он в засаленный платок. — А без любви на свете делать нечего...»

Беседа, что дырявое ведро — много вольёшь, да мало унесёшь. И Марат говорил на языке молчания, переводя на него слова. Но слыл в семье дурным толмачом.

— Путь наверх — всегда по головам, — вздыхал он. — А сегодня одни за демократию, другие — против...

— Как в той пьесе... — безразлично замечал Авессалом, зевая так, что сводило скулы.

— Это в какой-токой пьесе? — настораживался Марат.

А после, наострив уши, слушал

ПЬЕСУ «ЗА ЧТО КТО ЗА»

Кто-то: За образа...

Некто: За оба раза? Или за раз?

— Зараза! Ты был «за»?!

— Я «за» не мог...

— Ты занемог? А он как?

— Да, ну его! «За»...

— Да? Ну, егоза!

— Они не «за»...

— Они не «за»? Весь мир «за»! И сам мирза! А они мерза...

— Зато те «за». И антите «за»...

— А-а... А она как? «За»?

— «За»... но... «за»...

— Заноза! Н-да... А мы? «За»?

— Да. Мы «за»!

— Как? И дамы «за»?! А чумаза?

— И она — чума её! — «за»...

— А он-то? Он-то «за»?

— Он... «за»... Ну, да...

— Да, он зануда... Но — «за». А вы ли «за»?

— Кому... кому мне вылиза...

— А вы ли «за»?!

— О, да! Выли «за»! Но — за глаза...

Авессалом издевательски замолкал.

И Марат чувствовал себя рыбой на крючке.

Поздней весной дни перепутались, и к Стратилату Цибуль вернулась молодость. Её звали Анастасия Федяк, и в деревню она приехала на каникулы — запивать крыжовник козьим молоком.

— У вас есть интернет? — постучала она в его калитку.

— У меня тыр нет, — буркнул он.

Она рассмеялась. Так началось бабье лето Стратилата Цибуль. Анастасии нравились его чудачества, его молчание, серый цвет его карих глаз. «Не хмурься, — разглаживая ему морщины, ворковала она. — Борозда меж бровей — сердце пополам...»

И Стратилата охватывало чувство давно виденного, словно кто-то переставил в календаре недели, месяцы, годы.

— Мы сами разрушаем будущее, — умничал он. — Своими поступками, бездействием, страхами, мыслями, надеждами... Особенно надеждами! Чем отчаяннее мы хотим чего-то, тем дальше в угол его задвигаем...

— Значит, мне не нужно мечтать о тебе? — улыбалась она.

Стратилат смущался. Никто раньше не думал о нём, он давно привык жить рядом, но быть за тридевять земель.

Был вторник, новолуние, и Марат голодал. Утром он черкал дневник, подводя итоги, стучал костяшками счёт: «На сандалиях — пыль, а на ранах — соль, на устах — небыль, а на сердце — боль...» В его бухгалтерии дебет расходился с кредитом, как корабли в море, и Марат не выдержал. Сунув карандаш за ухо, он нахлобучил шляпу и, пугая мышей в парадной, выскочил вон. На-крапывал дождь, из тумана гулливерами выступали высотки, а вдалеке чернели трубы котельной, свисавшие на дымах, как на верёвках, с промозглого, серого неба. Марат бродил по городу целый день, но не помнил, где и зачем. А вечером последняя строка в его дневнике была зачёркнута. «В мозгах — канифоль!» — значилось вместо неё. У Марата защекотало в ухе, и он от рассеянности стал почёсывать шляпу. Он узнал руку сына.

— Да ты поэт! — толкнул он дверь в его комнату носком сапога.

— А ты не знал? — ухмыльнулся Авессалом. — Вот послушай: «Надрывался вокалист, рыжий гомосексуалист, танцевала обезьянка — престарелая лесбиянка...»

Марат передёрнул плечами, но от растерянности его понесло:

— Ты почему школу бросил? — подставил он другой бок.

— Сам знаешь, — врезали ему, — там готовят к одной жизни, а проживать приходится другую.

Марат хотел, было, съязвить, но тут заметил, что сын лежит голый и курит в постели. А пепельница стоит на груди молоденькой девушки — грудь была плоской, с родинкой под левым соском.

Марат покраснел.

А на другой день переехал на дачу.

Незаметно, как тесто, подошла осень. Огороды уже зияли комьями глинозёма, вывороченными канавками, по которым стекала мутная жижа, а обступавшие их избы чернели трубами, свисая на дымах, как на верёвках, с промозглого серого неба.

— Моя голова изъедена мыслями, как червивое яблоко, — жаловался Стратилат Цибуль, и глаза его делались печальными, как у большой собаки.

— Это потому, — с каменным лицом замечала Анастасия, — что ты живёшь в своих мыслях, как личинка, а пора разорвать кокон...

Однако Стратилату было уже поздно превращаться в бабочку, и ему делалось не по себе.

— А всё-таки странно, что мы вместе, — переводил он разговор.

Но у неё и тут находился ответ.

— Просто молоденькие девушки не смотрят на ровесников, а взрослые мужчины — на ровесниц...

Книги стареют с каждым прочтением. А его — допускала только одно. К вечеру день сгорал вместе со своим листком на свече.

«Гори огнём и синим пламенем», — пританцовывал вокруг Марат.

В другой раз они сидели на веранде, Анастасия красила ногти, кутаясь в простыню, которая то и дело сваливалась, обнажая родинку под левым соском.

— Нужно писать о политике, — дует на растопыренные пальцы, роняла она.

— Мне интересен человек, но безразлично человечество, — важничал он, помешивая чай. — И потом, — косился он на её руки, — все разные, как пальцы. Одни висят на собственных галстуках, другие — на помочах...

Но он врал. И знал, что врёт. Все одинаковые. И время берёт своё. Когда она уехала, и дни, как солдаты в строю, опять встали по местам, Стратилату будто нож под ребро сунули. Ему было странно, что он не умирает, а продолжает звенеть блюдцем, считать годы под кукушку в часах и топтать землю с вынутым сердцем.

От увиденного глаза в старости пучатся, как у рака, и на них вырастают очки. Поэтому старость видит всё. Но только не себя. «Мир — один большой парадокс», — бубнил к вечеру Марат, не сумев перешагнуть через очередное препятствие, и, успокоенный, сжигал страницу календаря.

Но он лгал. Это в его жизни царила сплошная неразбериха: он загораживался абсурдом от абсурда и ждал, когда в его численнике перевернётся последняя страница.

У него была своя вера. А вскоре появилась и икона. Опускаясь на колени, он вешал на стену треснувшее зеркало и, стараясь не мигать, долго молчал, запуская свою грусть в белый свет, как в копеечку.

«Мощи мои живые, — трогал он в зеркале щетину на подбородке, — да от тебя одни глаза остались!»

Его зрачки сморщились, как сушёные виноградины, и прошлое застряло в их трещинах уродливыми наростами, не пропуская больше ни настоящего, ни будущего. Он сверлил в нём дыры, из которых черпал горстями пустоту, а после шарил слепыми руками, натываясь на боль, за которой шёл, как за компасом.

Но он ещё надеялся и старался глядеть на своё отражение свысока.

Вечерами Марат ходил встречать поезда. Начались дожди, капли прожигали ладони, а ветер лез за воротник. На станции Марат садился на скамейку, уперев руки в колени, сплевывал между длинных, расставленных, как у кузнечика, ног и, выпуская облака табачного дыма, ждал. Но дожидался лишь тьмы, съедающей тени. Проводив громыавшие по рельсам вагоны, он тяжело поднимался, качая головой: «Эх, Авессалом, Авессалом...»

«Где тут участок Марата Стельбы?» — обратился к нему одинокий пассажир, сошедший с электрички с букетом чёрных роз. И скосил кошачьи зрачки: «Того, что сегодня умер...» Марат похолодел. Он вдруг представил себя на собственных похоронах среди чужих, равнодушных людей, которые с каменными лицами толпились возле гроба, таинственно перешёптывались, целуя его в лоб. Но себя Марат не увидел, как ни старался. Он открыл, было, рот, но человек с букетом уже исчез, а его будил свист уходящей электрички.

Сельская библиотека жалась к лесу в избушке на курьих ножках. Смеркалось. Уперев лоб в стекло, Стратилат заглянул в пыльное, освещённое лучиной окно. Заспанный, чернявый библиотекарь сидел, как ворон, на стуле таком высоком, что казался под потолком. Бормоча, он водил по страницам, делая ногтем пометки, и очки сползали на горбатый нос. Протиснувшись в дверь, Стратилат вытянул шею, пытаясь заглянуть ему через плечо. Но у библиотекаря и на затылке были глаза. Он захлопнул книгу, сунув её подмышку.

— Что-то интересное? — как пойманный за руку вор, смутился Стратилат.

— Да так... — неопределённо хмыкнул библиотекарь, повернувшись боком.

«Краткий курс ада» — разглядел обложку Стратилат. Библиотекарь спрыгнул со стула, как петух с насеста, и забарабанил по нему какую-то польку.

— Что угодно?

И тут Стратилат узнал в нём гостя из сна. «Это мир на глазах глупеет», — вспомнилось ему. Он хотел, было, возразить, но его перебили.

— Есть свежая книжка, — засуетился библиотекарь, увидев, что его узнали. Пошарив по полкам, он извлёк потрёпанную рукопись, а из широченного кармана ржавые ключи. — Извините, мы закрываемся... — подталкивая Стратилата к выходу, задул он свечу. — Берите, не пожалеете...

И, вручив книгу, стал вешать замок.

«Стратилат Цибуль был не похож на человека, родившегося в глубинке. Его мысли были тем более не похожи на мысли человека, закончившего там школу. Он думал не так, как думают имеющие за плечами университет. И в зеркале был совсем не похож на себя», — прочитал дома Стратилат в первом абзаце.

И дальше уже не мог остановиться. Это была повесть о его одиночестве и любви.

«Жизнь не рулетка: ставь на чёрное — и не ошибёшься. У Стратилата уже пучились, как у рака, глаза, и на них выросли очки. Он знал, как на пальцах сосчитать до тысячи, слышал эхо прежде звучавших слов и видел обратную сторону отражений. Для него больше не было секретов, теперь он видел людей насквозь: они были изворотливы и хитры, пряча звериное “я” за суммой лакированных предложений, — ёрзал в кресле Стратилата, и сердце колотилось у него в пятках. — Вечерами он допоздна засиживался за столом, высекая слова из тишины, пробовал их на вкус, исписывал горы бумаги, которыми заслонялся от себя. Он всё чаще разговаривал с отражением в зеркале, дожидая на выселках, уверял себя, что весь мир — окраина, а центр Вселенной находится там же, где наше “я”. Так и шла чередой его дней, бессмысленная, как численник...»

Стратилат жёг глазами страницу за страницей, воскрешая в памяти свою историю, читал о том, как бесцеремонно его спровадили домашние, как он сидел с перекошенным ртом у муравейника, как встретил Анастасию Федяк. С каждой строкой его прошлое приближалось к настоящему. И вот он уже во второй раз сегодня увидел обложку «Краткой истории ада».

«Берите, не пожалеете...» — предлагала себя книга.

Однако осторожный человек подставляет ветру только одно ухо и знает, на какой булыжник в мостовой не стоит наступать. Знать будущее — значит уже прожить его. И Стратилат Цибуль не стал читать дальше.

«Какой, однако, навязчивый сон», — подумал он вместо этого, проснувшись за столом с подложенными под щёки кулаками.

Марат оглядывался на свою жизнь, и она представлялась ему нелепой, как песня в сурдопереводе. «Из века в век жизнь одна и та же, — думал он, — только переводчики у неё разные». Теперь он видел себя посреди чужого времени, течение которого было не подвластно его воле, видел людей, родившихся в мир из чемоданов и сундуков, людей, у которых цепкие, крючковатые пальцы растут из локтей и плеч, растут из головы, заменяя волосы, выпавшие ещё до рождения. Он видел, что эти люди стоят на плечах других людей, и оттого, как кроты, слепы. А он не хотел быть слепым и потому выл от одиночества, чувствуя себя тем, кем был на самом деле — выжившим из ума стариком, которого бросили родные и который заслонился от всех религией численника.

В такие минуты Марат Стельба понимал, что он и есть тот человек, про которого сказали, что он умер.

«Смерть во сне длится недолго, — вздыхал Стратилат ночами, чувствуя, как его сердце колотится о подушку, — не то, что наяву...» Просыпаясь, он ворочался до тех пор, пока не сбрасывал одеяло, а потом лежал, вперившись в темноту. Он вспоминал длинные, как саги, ресницы Анастасии с поплывшей при расставании тушью, и его душили слёзы. В такие минуты ему открывалась правда, и он понимал, что Анастасия была той, которой не было — спасательным кругом в море его безумия. Прислоняя ухо к раковине, мы слышим не шорох прибоя, а собственное ожидание, и он выдумал её от боли и одиночества. Кирпич за кирпичом вокруг его жизни росла глухая стена, а «собачка» на его калитке опущена навечно. Он видел, что уже отслужил, не приступая к службе, и его выбросили, как стоптанный башмак, у которого нет даже пары.

В такие минуты Стратилат Цибуль вскрикивал, будто ему вправили застарелый вывих, и чувствовал себя тем, кем был на самом деле — разбитым ревматизмом стариком.

Не зная, куда деться, он всё чаще дремал, собираясь проспать оставшуюся ему жизнь, а на столе, как гусь крыльями, хлопала на сквозняке рукопись, в которой жил Марат Стельба. Крупными буквами на ней значилось:

СТРАТИЛАТ ЦИБУЛЬ

«ЧИСЛЕННИК»

ИСТОРИЯ РАСПЯТОГО ПО ПРАВУЮ РУКУ

В начале прошлого века её свидетелем стала моя бабушка, родившаяся в медвежьем углу Владимирской губернии. Родители возвращались поздно, и, укладывая меня, она следила, чтобы сны приходили с нужной стороны, а сердце не украли домовые. «Тогда люди становятся жестокими, — говорила она, — и всю жизнь боятся темноты». Бабушка была неграмотной и, рассказывая, водила пальцем по Библии, будто читала. Она «окала» на северный лад и беспрестанно поправляла платок, точно слова выбивались оттуда вместе с волосами. Теперь её говор перемешался с моими воспоминаниями, как шёпот воды с ветром, и, опустившись в колодец прожитых лет, стал тем эхом, которое ошибочно называют «своими словами».

Для одних мир распахнут, как окно, для других он — замочная скважина. Для Петьки «Козырька», карманника и щипача, мир с колыбели приоткрылся на два пальца, и в эту узкую щель сыпались, как горох, тусклые будни. Осенью в ней отражался двор, задыхавшийся под шапкой серого, клочковатого неба, а зимой мертвецами из могил вставали сугробы.

Петька был мельче мелкого, к тому же последыш, про таких говорят, что родился в довесок. Его братья казались старше своих лет, а родители младше своих болезней. При этом и те, и другие бросали свой возраст в общую

копилку, и семья становилась древней, как разросшийся за околицей дуб. На всех у них была одна крыша, одна печь и один смех. Поэтому если кто-то смеялся, остальные плакали.

А плакать было отчего. Дыры они видели у себя, а деньги у других, и, точно слепцы на верёвке, беспрестанно дёргали друг друга, ощущая свою жизнь, как вставные зубы. По нужде они должны были шастать в ночь, как филины, а прежде чем париться в бане — наломать дров.

Петька оказался смышлёным и рано понял, что живот у одного сводит от смеха, а у другого — от голода. От постоянных дум о куске хлеба голова делалась, как вата.

— А правда, что людей на свете, как листьев в лесу? — спрашивал он, ложась на желудок, чтобы заглушить его звон.

— Да, сегодня четверг, — шипели ему. Не всё ли равно, о чём говорить, когда на уме одно?

Годы просверлили в Петькином мире чёрный ход, но через него пришли только сидевшие на шестах куры, да крикливый петух, которого зарезали за то, что пел раньше срока. Стуча крыльями, он бегал без головы, а его кровь потом долго мерещилась в блёстках на бульоне. Раз Петьку водили к знахарке, она катала яйцо, заговаривая грыжу, и гадала по руке: «Не доверяй мужчине с женскими бёдрами и женщине с глазами, как ночь...» Вернувшись, Петька никак не мог уснуть, ворочался с бока на бок, всматриваясь в ночь с глазами женщины, и видел в её тёмных размывах женские бёдра.

А потом он подрос, став выше табурета, на котором сидел, и шире улыбки, за которой прятал слёзы. Однажды ему надели картуз, всучили вместо портфеля плетёную корзину и утопили в перешедший по наследству сюртук. Из школы Петька вынес, что «обедать» — это существительное, несовместимое с глаголом, а «время» — местоимение, потому

что у каждого оно своё. На уроках математики он постиг также, что мир проще таблицы умножения и что «деньги» — это числительное, он считал их в чужих карманах, а галок на плетне — по пальцам.

Восемь дней в неделю Петька ёрзал на стуле, ловил ворон, и его драли, как сидорову козу.

У его учителя лицо было таким узким, что с него постоянно сваливались очки и казалось, он может хлопать себя ушами по щекам. Он носил низкую чёлку, за которой прятался, как за дверью, и не ходил в лес, опасаясь наступить на ежа. Опускаясь на стул, он прежде шарил по нему руками, отыскивая кнопки и проверяя спинку. Когда Петька подложил ему очки, которые выкрал с носа, учитель побледнел, решив, что хрустнул позвоночник, а потом растегнул верхнюю пуговицу, чтобы выпустить пар.

— Кто эта паршивая овца! — наткнувшись на молчание, как на штыки, заревел он. — Кто эта ложка дёгтя!..

Петьку будто окунули в погреб, со дна которого небо казалось с овчинку. В дверь уже просунулась лошадиная морда воспитателя, от которого за версту несло чесноком и розгами. На войне он потерял ногу, и в спину его дразнили «культёй». Он жил бобылём, потихоньку спивался и, вымещая обиду на паркете, стучал в коридоре протезом.

— Кто напакостил? — в последний раз спросил учитель. — Повинную голову и меч не сечёт...

Он вёл грамматику и Закон Божий и любил поговорки не меньше чужого раскаянья. Но все молчали. Даже инвалид усмехнулся, ведь на признание ловят, как на блесну. И вдруг на её пустой свет клюнул Иегудиил, с которым Петька сидел за партой. Они были одногодки, но Иегудиил успел вытянуться, как осока, и погрузнеть, как река. Он был, как плакучая ива, про таких говорят: однажды не смог понять, что проснулся, и с тех пор живёт во сне. «Дурак!» — дёрнул его за штаны Петька. Учитель завернул

лицо в ладонь, как в носовой платок, сквозь который змеилась улыбка. «А ты, почему не донёс? — близоруко щурясь, скомкал он Петькино ухо. — Я из вас сделаю граждан!»

Их заперли в сарай длиной не больше семи локтей, в котором мир представлялся таинственным, как темнота, которую носят в кармане. Они вышли оттуда, спотыкаясь о собственную тень, и долго стояли под яблоней, подбирая падалицу и поддавая огрызки босыми ногами.

И стали свободными, как стрелка в сломавшихся часах.

Поначалу Петька ещё выдёргивал перо из шипевшего гуся, садился в поле и под стрёкот кузнечиков представлял, как его будут пороть. Но когда это случилось, всё пошло своим чередом: мыши по-прежнему проедали дырки в карманах, а жизнь текла ветерком по ржи.

И всё встало на места: хромой воспитатель, сосчитав однажды глотками бутылку водки, разбил её о плетень и вскрыл себе вены, родители не пережили своих болезней, братья разбрелись куда попало, а Петька стал промышлять на ярмарках и нахальничать в кабаках. Заломив картуз, он ходил по базару, затыкая за пояс мужиков, и лез бабам под фартук. Для вида он бойко торговался, витаскивая гроши, которые берегли, как зубы. Случалось, ему фартило, и деньги, как мыши, сновали тогда по его карманам. Он спускал их тут же, не успев распробовать вкуса, просыпаясь в постелях женщин, имён которых не знал. Накануне он представлялся им купцом, клял их убогую жизнь и обещал, что утром увезёт за тридевять земель. Женщины всплескивали руками, прикрыв рот ладошкой, ахали, а когда он засыпал, плакали.

В Бога Петька не верил. «Устроилось как-то само...» — думал он, глядя на бегущие по небу облака и шумевший под ними лес. И жил, как зверёк, в этом лесу.

Бывало, он засыпал богачом, а просыпался нищим. Но, засыпая нищим, всегда видел себя богачом. «Да у меня сам квартальный брал под козырёк!» — бахвалился он во сне и слышал, как кто-то невидимый рассыпался тогда смехом: «Эх, козырёк, козырёк...»

В городе Петька ходил в синематограф смотреть комика, который уже давно умер, но, беседуя с Богом, продолжал кривляться на экране. «Чудно...» — чесал затылок Петька и опять вспоминал, что время у каждого своё. Теперь он думал руками, а ел головой. И всё чаще видел во сне мужчину с женскими бёдрами и женщину с глазами, как ночь.

А потом пришёл суд, плети и каторга с одним на всех сроком, одной ложкой и одними слезами. Петька вышел оттуда седым, как расчёска, набитая перхотью, и принялся за старое.

В отличие от Петьки, овладевшего единственным ремеслом, Иегудиил стал мастером на все руки. В драной, пыльной рясе он ходил по деревне, совмещая должности звонаря, пономаря и богомаза. В народе Иегудиил считался малость не в себе. «Вот стрела, — бывало, учил он, сидя на бревне и чертя в пыли веткой, — тетива забывает о ней, и она свистит, пока не застрянет, как крючок в рыбе, или не потонет, как месяц в туче. Так и слово... Слова, как птицы, — рождаются в гнёздах, живут в полёте, а умирают в силках...» Он изощрялся в метафорах, подбирая сравнения в деревенской грязи, а заканчивал всегда одинаково: «Слово, как лист, гниёт на земле и сохнет на ветке, а живо, пока летит...» Он мог распинаться часами, но слушали его только бредущие с пастбища козы, да деревенский дурачок с тонкими, как нитка, губами.

Навещал он и учителя, тот постарел и лежал теперь, разбитый параличом, шевеля глазами, как собака. «События тусклы, как лампада, — говорил ему Иегудиил, — это

люди возвышают их до символа. И тогда их слава, как тень на закате, оборачивает землю, зажимая её, точно ребенок, в свой маленький, но цепкий кулак...»

Пробовал философствовать и Петька. Раз на голой, как палка, дороге, когда этап отдыхал после дневного перехода, он встретил бродягу, сновавшего между деревнями за милостыней. Повесив на клюку котомку, нищий опустился рядом с Петькой. Он поделился с ним хлебными крошками, а Петька — солью, которая была их крупнее. Еду жевали вместе с мыслями. «Вот галка летит, попробуй, приземли её... — чесал до плечи затылок Петька. — Мир сам по себе, а человек — сам...» В ответ бродяга кинул клюку и перешиб птице крыло. С тех пор Петька понял, что его речи скликают неудачи, а счастье убегает от них, как от бубенцов прокажённого.

Встретились они всего раз. Стояла осень, ржавчина крыла дерева, но в погожие дни солнце ещё съедало тени. Петька, куражась, привёз из города гармониста, который знал все песни наперечёт, и, запуская глаза в стакан, третий день горланил на завалинке. «Эй, святоша!» — обнимая бутылку, окрикнул он Иегудиила, проходившего за оградой, и, хлопнув калиткой, полез целоваться. Ему хотелось рассказать, что в Сибири, далёкой и холодной, как луна, слёз не хватает, как денег, и там, если кто-то плачет, то остальные смеются, хотелось пожаловаться на судьбу, горькую, как водка, и, быть может, найти утешение в прошлом, когда они стояли под яблоней, рвали дичку и видели перед собой длинную-предлинную дорогу.

Но вместо этого подковырнул: «Значит, ждёшь воздаяния?»

В церковь Петька давно не ходил, а из Закона Божьего усвоил только, что в пятницу нельзя смеяться, чтобы в воскресенье не плакать, и что Предтечу зарезали, как петуха, кукарекавшего раньше рассвета. Но над Страшным Судом

смеялся: чай, не хуже Сибири. В глубине он был уверен, что мир встречает, как сиротский дом, ведёт через дом казённый, а провожает богадельней.

Не получив отпора, Петька озлобился.

— Уж лучше синица в руке... — подняв бутылку к бровям, икнул он.

— С синицей в руке не поймать журавля в небе...

А потом, старой телегой, загромычала гражданская война, и в деревню пришли враги. Они так долго воевали, что уже и сами не знали, «красные» они или «белые», посерев от пыли трущихся об их шинели дорог. Вначале они расстреливали и рубили, а потом, жалея патроны и затупив сабли, стали отводить на лесопилку и давить досками. Их начальник, с усами, как крылья летучей мыши, и взглядом, как клинок, выбрал для постоя самый худой, покосившийся дом и судил, сидя на перевернутой просоленной бочке, словно говоря: «Не ждите от меня доброты, всё вокруг и так валится...» В молодости он был актёром, и одно время его имя гремело, пока не затерялось эхом в горах, оставив на душе разочарование и безмерную усталость. С тех пор, забыв настоящее, он носил своё театральное имя и пачкал его кровью, как мясник фартук. Пафнутий Филат был старше своих подчинённых вместе взятых, по утрам у него хрустели суставы, а от сырости ломило кости.

И он был привязан к своему времени, как стрелка в часах.

Чистили всех, и всех — под одну гребёнку. На допросе Петька косился на колени с повернутым в его сторону наганом. Играя желваками, Филат крутанул барабан. «Бывает, и палка выстрелит», — мелко перекрестился Петька. Пламя над свечой заплеталось в косичку, по углам плясали тени, и казалось, что в их паутине развалился чёрт. Перевернув револьвер курком вниз, Филат почесал

рукояткой подбородок. «А когда ты коней в эскадроне воровал, не боялся?» Земля ушла из-под Петькиных ног, защищаясь, он вскинул руки. «Врёшь, — пригладил слюной брови Филат. — Ты их ещё, как цыган, надувал через камыш...» В сенях кособочилось зеркало, и, мелькнув в нём, Петька вдруг заметил у себя женские бёдра, а у своей смерти — глаза, как ночь.

А потом вернулось детство: его заперли в тот же сарай, сквозь брёвна которого мир представлялся таинственным и жутким. Он вытянул руку, и она утонула в темноте. А вместе с ней стал проваливаться и Петька. В углу ворочалась тишина, которую он не слышал, ему хотелось кричать от ужаса, покрывшись гусиной кожей, он часто дышал, и слюна сквозь щербатые зубы липла к стене.

А на утро пришёл черед Иегудиила. Филат горбился над умывальником, фыркая, как кот.

— Так это ты называл мои прокламации мертвечинной?

Иегудиил растерялся:

— Буквы, как телега, что положить, то и несут...

Он прятался за слова, но жить ему оставалось пол абзаца.

Привели свидетелей, и Филат поднял на них глаза с красной паутиной.

— Он, он! — запричитал юродивый, окончательно съевший свои губы, и вытянул мизинец: — говорил, слово живо, пока летит...

Филат побагровел и, смывая пятна, плеснул воды, которая вернулась в раковину красной. «Эх, Расея... — зажмурился он. — На твою долю выпало столько боли, что рай должен стать русскоязычным...»

«И ад тоже...» — хмыкнул кто-то внутри.

Кровать была низкой, и учитель прятался в подушки, выставляя наружу рачьи глаза.

— Правда, что этот, — Филат ткнул пальцем в Иегудиила, — смущал твоих учеников?

Люди грозно обступали, и учителю показалось, что его вот-вот пнут сапогом. Он растерянно заморгал.

— А правда, что, пользуясь беспомощностью, он говорил тебе мерзости?

Выждав, пока пропоёт петух, учитель снова подтвердил.

— Есаул! — крикнул Филат голосом, от которого лопало небо.

— Я здесь, ваше благородие! — подскочил человек с подбородком, раздвоенным, как копыто. — Прикажете на лесопилку?

Филат поморщился.

— И этого... — щёлкнул он пальцами в сторону учителя.

Иногда бабка рассказывала по-другому. Будто бы никаких свидетелей не было, а Иегудиил горбился на колченогом стуле в пустой, как ладонь, комнате, и вокруг него расхаживал Филат.

— Истина... — ощупывая бородавку, усмехнулся он. — Поди, прикнопь солнечный зайчик...

И его глаза сверкнули безумием. Он резко взмахнул пятернёй и схватил скакавшего по воздуху комара.

— Чем звенит? — зажав в кулаке, поднёс к уху Иегудиила.

Тот смутился.

— Кровью... — отвернувшись к окну, прошептал Филат. — Жизнь не знает иной отгадки, а смерть молчит...

И сделал жест, которым отправлял в райские сады.

А может, было и так. Филат сидел на стуле, наматывая на ус проповедь Иегудиила.

— Мы пришли из света и уйдём в свет, — закончил тот тихо и торжественно, — а на земле нас испытывают в любви...

Филат вздохнул.

— Твои слова, как бараний тулуп, — греют, но мешают рукам... Как же тогда убивать? — Он пристально посмотрел на Иегудиила. — А помиловать не могу... Пойми, у вечности нет щёк — ни правой, ни левой... — Он упёр ноги в пол и, раскачивая стул, добавил: — Люди не знают ни любви, ни ненависти, а одну только скуку...

Покатую крышу долбил дождь. Слушая его дробь, они молчали об одном и том же, и, как и всем перед смертью, им казалось, что они не повзрослели. Перед казнью в сарай зашёл Филат, из-за плеч которого выглядывала смерть.

— Через день Пасха... — сказал он, опустившись на пол и закрутив пистолет. — На ком меньше грехов — отпущу...

Дуло упёрлось в учителя. Филат нахмурился, передёрнул ствол и с капризным упрямством закрутил снова.

И опять взял на мушку кровать.

А Петька дрожал, как осиновый лист, и эту дрожь понёс на лесопилку. Пока они шли, ветер лез им за воротник, а дождь плевал в лицо. Вокруг грудились деревенские, радовавшиеся, что ещё поживут, что их срок оплатили чужие смерти, и от этого их глаза делались, как у кроликов, а лица — страшнее их самих. Дорогой Петька проклинал белый свет, который встретил его, как сироту, а провожал, как бродягу. «Вот и всё», — думал он, и перед ним промелькнула вся его жизнь, которая, уткнувшись в дощатый забор, остановилась у ворот лесопилки. «Из пустоты в пустоту...» — кричал ветер; «Из немоты в немоту», — стучал дождь; а из ночи глядели мутные глаза Филата.

И Петьке передалось их безразличие, его больше не колотил озноб. «Каждый привязан к своему времени, — смирился он, — а моё — вышло...» Пахло опилками, и он равнодушно смотрел на валившиеся крестом доски, которые всё прибывали и прибывали...

— Ошибаешься, — донёлся сквозь шум голос Иегудиила, — скоро мы опять будем собирать яблоки, только в них не будет косточек...

Случается, и сломанные часы показывают правильное время, бывает, и устами заблудших глаголет истина, а за одну мысль прощается семь смертных грехов. Петька уже покрылся занозами, как дикобраз. «А вдруг, — корчась от боли, подумал он, — вдруг он прав...»

И тут, у стены смерти, его мир распахнулся, как окно.

ЛЮБОВЬ НА ИВРИТЕ

Одно из моих воспоминаний — сон. Поднимая вуаль, я ем пресную мацу, которую отец принёс из синагоги. На дворе — пурим, когда напиваются так, что не отличают перса от иудея, и отец плеснул нам, детям, красного вина. Весна пришла рано, цвёл миндаль, и в местечке сушили бельё, развесив на верёвках поперёк улицы. Отцовский пиджак на ветру бьёт в стекло, мать на кухне ошипывает курицу, а в углу под часами с кукушкой дед читает «Шма, Израэль!».

— У тебя глаза, как мысли раввина, глубокие и загадочные, — говорит мальчик напротив, — а твоя вуаль — как молитвенное покрывало... Подаришь мне сердце?

— Бери, их у меня много, — смеюсь я.

И тут открываю глаза — точно вуаль снимаю. Наяву — праздник пурим, за окном — весна, на тарелках — маца, а мальчик напротив сравнивает мою вуаль с молитвенным покрывалом. От ужаса я снова зажмуриваюсь и вижу, как во сне соглашаюсь отдать ему сердце. Пробуждаюсь, а напротив — мальчик из сна. Так я понимаю, что сны не отличаются от яви, а время от вечности, которая обвивает, как судьба.

— Случившееся раз бывает и всегда, — шепчу я.

И тут просыпаюсь окончательно. В бок мне упирается «История гетто», которую читала накануне, а под моими растрёпанными волосами на подушке спит юноша, который

просил у меня сердце. Его зовут Аарон Цлаф, он был моим одноклассником, и мы ещё в школе договорились, что поженимся. В университетском общежитии нам отвели комнату без замка, и ночью, пугаясь сквозняков больше, чем воров, мы приставляли к двери шкаф. Занавесок не было, и уличный фонарь, свисая к кровати, заменял настольную лампу, когда нам взбрело заниматься не только любовью. Утром я пудрила синевшие на шее поцелуи, а Цлаф, пряча мои укусы, наглухо застёгивался, поднимая воротничок. Пьяные от бессонницы, жуя на ходу бутерброды, мы шли на лекции, которые не понимали по-разному.

— Какой дурак! — думал о себе Аарон, если лекция была ему не по зубам.

— Какой дурак, всё усложняет! — думала я о лекторе.

Так продолжалось до курса Соломона Давидовича, который был до простоты мудр и видел вещи в их неприкрытой наготе. Слова он подбирал с неторопливой осторожностью, будто брился, а точку ставил, словно муху прихлопывал. Я понимала его ещё до того, как он открывал рот, запоминала лекцию наизусть, чтобы вечером продиктовать Аарону, который не понимал её, даже записывая. Потому что от ревности делаются глупыми, как болотная цапля. А я действительно влюбилась так, что у меня слезились глаза и чесался нос, а слова застревали в гортани, прилипая к нёбу.

— Настоящая любовь нема, — думала я, — она безгласна, как алфавит нашего языка.

Собрав вещи, я ушла от Аарона, потому что постель без любви — всё равно, что синагога без Торы.

В коридоре было долгое эхо.

— У тебя, и правда, много сердец, — слышала я, спускаясь по лестнице, — и все каменные...

Соломон был старше моего отца, но меня это не смущало. «Время для полов течёт по-разному, — говорила

мать, фаршируя рыбу, — женский век короток, но дольше мужского...» А отец, расстегнув пиджак и оттягивая большим пальцем подтяжки на брюках, лихо отплясывал на свадьбах и, поздравляя молодых, мысленно примерял роль жениха.

Жена Соломона брила голову и носила парик, как предписывает вера. Но все знали, что у неё редкие, некрасивые волосы. Зато под её тенью плавился асфальт, а от изображений трескались зеркала. Такие дерутся за своё счастье, не понимая, что силой можно добиться всего, кроме любви. Связать с кем-то судьбу — значит для них своровать чужую, подменив её своей. Они не хотят меняться судьбами с кем попало, долго выбирают, а в конце остаются одни. В постели они бывают сами по себе, делая мужчин одинокими. Рядом с ними чувствуешь себя так, будто ешь в субботу некошерное, и они заставляют думать, что все женщины одинаковы.

А Соломон был большим ребёнком, ходил в мятых брюках и обедал в студенческой столовой.

— Шолом, — подседа я, составляя посуду с подноса. — Можно сдать вам экзамен?

Он поднял глаза.

— Ваше имя?

— Суламифь...

Была суббота, цвели каштаны, мы гуляли по бульварам, и вместо экзамена я рассказывала про южный городок, в котором родилась, про талмудистов в долгополых кафтанах и шляпах с висящими по бокам пейсами, про деда, который был кучером, носил пышную бороду, чёрный лапсердак, употреблял вместо немецкого идиш, вместо испанского — ладино, а по-русски говорил с местечковым акцентом. Все три языка дед считал родными, перепрыгивал с одного на другой, как воробей по веткам. Он верил, что сефарды расселились из гетто, а мы, ашкенази,

произошли от тринадцатого колена Израилева, которое было утеряно, — от хазар. На своей двуколке дед носился по всему городу, а его нос, рассекая воздух, напоминал извозчика, дремлющего на козлах. Случалось ему подвозить и к церкви. И тогда на него косились.

— Что, стыдно верить с нами в одного Бога? — поглаживал бороду дед, пока с ним расплачивались. — Верить в одного Бога — всё равно, что есть с одной ложки...

И поспешно стегал лошадь.

— Береги пейсы, жидовин, — кричали ему вслед.

Умер дед вместе со своей профессией, когда дороги оседлали авто, а лихачей сменили шофёры. Его эпитафия может служить каждому еврею:

Искал Б-га.
С властями не дружил.

День пролетел, как бабочка, а когда опустился вечер, мы постучались в гостиницу. В номере не было занавесок, и уличный фонарь, свисая к кровати, заменял лампу. Наши тела сомкнулись, как ладони при пожатии, и Соломон убедился, что не все женщины одинаковы.

А утром явилась его жена. Горячилась так, что парик покрылся потом, стыдила, будто поливала чесночным соусом, вспоминая о грехе.

— Грех — обратная сторона добродетели, — огрызнулась я, — нет греха — нет и добродетели!

Она хлопнула дверью. А я вспомнила мать, говорившую, что холодная женщина становится ведьмой. Вместо мужского «жезла» она использует метлу — летая на ней, получает удовольствие, которого не может достичь иначе. А ещё я подумала, что люди всё подменяют: вместо совести

у них закон, вместо исповеди — анкета, а любовь они выселили за черту оседлости. И потому их дни, как зёрна, которые клюет курица, а ночи, как разорванный в клочья пиратский флаг.

Университет я оставила с ощущением, что знаю меньше, чем при поступлении, и из столицы, где ходят узкими муравьиными тропами, убежала с Соломоном на край света, где мир лежит в первозданной чистоте. В соснах там шумел ветер, и море билось о скалы, как песнь песней. О, возлюбленная моя, зубы твои, как стадо овец, сгрудившихся у водопоя! Мы жили в домике с саманными стенами, крышей из пальмовых листьев и окном с обращённым внутрь зеркалом вместо стекла. Мы ели дикий мёд с орехами, и в саду у нас, как в раю, росли яблони. Днём, когда в сухих водорослях на берегу мы собирали устриц, нас оглушали крики чаек. Вытащив из воды рыбу, они выпускали её из когтей, чтобы подхватить на лету клювом.

— Так добыча для них превращается в птицу, — шутился Соломон.

— В отличие от других еврей страдает не страхом кастрации, но — ужасом бесконечного обрезания...

Соломон улыбнулся.

— На всё есть тысяча объяснений, и все правильные. Хотя верного — ни одного. Поэтому важнее не отыскать правду, а убедить в ней других...

Так я поняла, что люблю его даже тогда, когда ненавижу.

В нашем царстве мы кормили друг друга яблоками, и были мудры, как змеи. Ночью к нам спускались ангелы, а на рассвете пастухи, как волхвы, приносили козье молоко. Целый день мы бродили, прикрываясь ладонью от солнца, а вечером поднимались в горы, в уютную плющом беседку, слушать тишину, как раньше на концертах — музыку. Молчание вдвоём отличается от молчания зала, а отсутствие

звуков — от космического безмолвия. Тишина зависит от того, есть ли поблизости спящий, тикают ли часы, бьётся, от неё глохнут, ведь она звенит так, что закладывает уши. В беседке наши мысли, как влюблённые, встречались со словами и, умирая, рождали особую тишину, которую, как льдинку, можно сломать даже шёпотом.

Иногда мне делалось грустно.

— Быть может, мы встретимся в какой-нибудь другой жизни? — глядела я на тёмное, синевшее море, в котором тонули звёзды.

— Это также невероятно, как то, что мы встретились в этой, — обнимал меня Соломон.

Так мы прожили три года — три дня, три тысячелетия. И всё это время я чувствовала себя аистом, который, расправив крылья, стоит над гнездом. Мы были двуногим, составленным из двух хромым, так что, когда Соломон, схватившись за сердце, упал на свою тень, я схоронила половину себя и с тех пор хромаю. После смерти Соломона целый месяц по крыше долбил дождь, пальмовые листья, набрав воды, прогнулись, и мне казалось, что с потолка вот-вот хлынут потоки, что я переживаю вселенский потоп, что воды объяли меня до души моей. Я скулила от тоски, напоминая суку, у которой утопили щенков и которая сосёт своё бесполезное молоко.

В домике, разрушенном, как Иерусалимский Храм, с опустевшим ковчегом и потухшим жертвенником я провела ещё год, наблюдая в зеркале, как дурнею. «Ночи мои пусты, как горсть нищего, — целовала я могильный камень, ставший для меня Стеной Плача, — а дни валяются, как мёртвые птицы...» Смешивая слёзы с горьким, скрипучим песком, я хотела согреть Соломона под холодной плитой, но однажды нацарапала морской ракушкой:

Время лечит.

Убивая наши чувства и мечты.

И вернулась к Цлафу.

У меня трое детей, а имена внуков я забываю. Сколько мне? Девочки возраст завывают, девушки занижают, женщины его скрывают, а старухи путают. Казалось, ещё вчера я верила в Деда Мороза, а теперь вспоминаю мать, предупреждавшую: «Наступит время, когда вдруг понимаешь — впереди ничего нет. И позади тоже...» Когда-то мои глаза были широко открыты, будто видели чудесный сон, а теперь они открываются от темноты к темноте, будто просыпаюсь ночью, будто под вдовьей вуалью...

Аарон — хороший семьянин, но плохой любовник. «Любовь с утра, как стакан водки, — смеётся он, — весь день насмарку». И много работает. Университет мы закончили одновременно, а уже через год Цлаф стал профессором. «Не стоит тратить время на поиск истины, — отмахивается он, когда к нему пристают с вопросами, — ибо истина, как компьютерная программа, не может дать больше того, что в неё вложишь». А моя истина заключается в том, что я никогда не любила Цлафа и никогда от него не уходила. Жизнь шифрует свои тайны не хуже каббалистов, и я часто думаю, как бы она повернулась, если бы в субботу, когда цвели каштаны, разговор с Соломоном не ограничился экзаменом?

— Бабушка, расскажи сказку, — укладываясь в постель, просит меня внучка.

Её зовут Суламифь, она видит мир в первозданной чистоте, и рядом с ней я становлюсь юной.

— Жизнь без любви, как плен вавилонский... — разглаживая ей кудри, мечтаю я, рассказывая историю про Соломона.

ИГНАТ И КОНДРАТ

«**К**аждый человек — писатель, он пишет своё жите невидимыми чернилами...» — думал Игнат Трепутень, кусая гусиное перо. За слюдяным окном догорал семнадцатый век, Иван-колокол пугал ворон, а в Кремле, заглушая его, шептались по углам.

«Что страшно одному — другого не пугает», — продолжал размышлять Игнат. На площади чернели головы с пиками вместо шей, галдели птицы, вырывая друг у друга мёртвые глаза, и перья, измазанные запёкшейся кровью, сыпались на булыжник.

Игнат всего с месяц как сменил рясу на кафтан. «Послужи государю твёрдой рукой», — перекрестил его на дорогу игумен с высохшим от молитв лицом. У предыдущего писаря нос скривили клещи усов, а взгляд был такой острый, что хоть перо очинивай. Но на масленицу, проверяя глазомер, он высчитал глотками бутылку медуухи и допустил пропуск в титулах царя. От страха у него выпали волосы, хмель выветрился, а тень встала дыбом. Но с бумаги букву не вырубишь. Тараща медяки глаз, он уже видел, как точат топор. И, расплетя с перепугу лапти, стал вить верёвку. Но потом, растолкав стражу, удрал к шляхтичам, приняюхиваясь к пограничным заставам, точно зверь. Он бежал, выскакивая из порток, и в Варшаву явился, в чём мать родила.

Звали его Кондрат Черезобло.

Вслед ему полетели грамоты. Их под диктовку думного дьяка выводил Игнат. Красивым почерком, за который его взяли из монастыря.

Изо дня в день Игнат прислонял букву к букве, макая носом в чернильницу. Он всегда держал её под рукой, а перо за ухом. В его замурованной келье едва поместился стол, на котором, переплетая пламя косичкой, денно и ночью чадила свеча. Игнат сидел на высоком стуле, болтая ногами над земляным полом, заслонившись от мира кованой дверью и ворохом бумаги.

А за Кондратовой душой явился государев человек.

— Не сойти мне с этой половицы, — топнул он каблучком, оттопыривая карман, из которого глядела тьма, — пока здесь не окажутся его кости!

В королевской свите спрятали ухмылки:

— Но ваш подданный ссылается на нехватку чернил...

Оставалось расшибить лоб. Однако Москве упрямства не занимать, и посол гнул своё.

— Кондрашка умалил честь помазанника! — стучал он посохом, багровея, как рак. И пока анафемствовал, зашло солнце. — Впрочем, воля ваша, вам выбирать...

— А в чём же наша воля?

— Кол или виселица!

Ему отказали.

Боярин выломал под ногами половицу и, унеся с собой, сдержал слово.

Однако домой он вернулся с пустыми руками. И это ему не сошло. Звали посла Чихай-Расплюев, а указ о его ссылке написал Игнат Трепутень.

Была ранняя весна, Кондрат брёл по нерусскому лесу, разглаживая седые колтуны мокрым снегом, и сочинял стихотворение:

ЧУЖБИНА

Чужбина. Чужбина, чужбина...

Чужбина, чужбина, чужбина...

Чужбиначужбиначужбина...

Пел ветер, скрипели сосны, и воспоминания уносили его в Москву. А там икалось Игнату. Он запивал икоту квасом, корпел над челобитными и, причащаясь, видел отражённого в чаше змия. «Повинную голову и меч не сечёт», — искушал он беглецов аккуратными ижицами и ятями. От лжи у него шелушился нос, и он соскабливал кожу ногтем.

А после спускался в подвал — смотреть, как, выжимая рубахи, трудятся до седьмого пота палачи.

Иногда он получал в ответ сломанную пополам стрелу. И тогда понимал: ему не верят.

Игнат седел изнутри и, оседлав свой возраст, был лыс, как колено. «Не перебегай дорогу зайцу, чтобы чувствовать себя львом», — учил он. Однако его боялись. Величали по отчеству и ломали шапку перед его железной дверью.

Теперь у него всё было написано на лице. Но прочитать по нему было ничего нельзя. Когда же он невзначай проводил по лбу платком, там отпечатывалось: «Холопу — кнут, боярину — почёт!» И он торопливо прятал в карман свою мораль.

На пирах Игната перевозносили до небес, а за спиной ему мылили верёвку. Он принимал это как должное. В своих ночных мыслях он доказывал, что прощать врагов — значит вовремя их предавать, и не опускал глаз, когда угодники на иконах заливались краской. «Памятники рукотворны, — приговаривал Игнат, отправляя в Сибирь завистников, — к славе каждый сам себя за уши тянет».

Раз в келью явился татарский мирза Ага-Кара-Чун. На нём было столько крови, что пока он говорил, она стекала ручьями с рукавов.

— Тебя же четвертовали... — удивился Игнат, вспомнив, как гудело лобное место: «Ну что, секир-башка, добунтовался!»

А теперь татарин стоял цел и невредим.

— И что? — в свою очередь удивился гость. — Разве можно, расчленив тело, разъять душу?

Взяв правую руку в левую, он почесал её об угол стола.

Игнат покосился на дверь: соглядатаев при дворе, как грязи.

— А вот скажи, Игнат, — отрубленная голова качалась параллельно полу, — что ты ответишь не мне и не государю, а там, — мирза вздёрнул палец, — когда тебя спросят, зачем ты из слова извлекал корысть?

— Я служил царю твёрдой рукой, — начал писарь, возвышая голос, — и всякий, кто оскорбит святейшую особу...

— Эх, Игнат, Игнат... — усмехаясь, перебил татарин. — Гордыня говорит твоими устами! Я видел царства, в сравнении с которыми твоё — клочок земли. Я видел Чингисхана и Кира Великого, когда Железный Хромец сыпал груды черепов, я стоял рядом, я шёл за ордами Атиллы и полчищами Махмуда Завоевателя. Поверь, любой поступок — только грех другого поступка, их лестница не приводит ни в ад, ни в рай, она упирается в бесконечный тупик... — Татарин сложил конечности, как в коробку. — А ещё раньше я услышал голос: «Где брат твой?» — и ответил, что не сторож я брату своему. С тех пор меня обрекли бродить по свету и кричать человеку: «Проснись!..»

— Проснись! — тряс за плечо Игната думный дьяк. — Надо писать благодарственную — Ага-Кара-Чуна казнили...

В своём лесу Кондрат слыл книгоцеем. «Очень важно не прочитать лишнего, — предостерегал он щебетавших по кустам соек. — Никакая книга не может стать Евангелием. Даже Евангелие». Он всё больше сгибался, уже касаясь мизинцами икр, так что издалека казалось, будто катится колесо. «Раньше мои пятки сверкали, как грудь молодой, — разгоняя кровь, упирался он босыми ступнями в ежа, — а теперь они, как глаза вдовы...»

А Игнат продолжал бегать за собственным носом, наступая себе на пятки. «На родине и сухарь сладок, — соблазнял он, — на чужбине и мёд в рот не лезет...» Его прилагательные виляли хвостом, а от глаголов пахло кандалами. «Бескрылая муха не жужжит», — цедил он, когда вернувшиеся корчились на дыбе и глохли от собственного крика.

У слов двойное дно, они кричат, чтобы заглушить тишину.

Шли годы. Будущее входило в левое ухо и собиралось у правого виска, поэтому пророчества лгали, а сны сбывались лишь после смерти. Пропуская время, как нить сквозь игольное ушко, Игнат двигался, растопырив руки, и ловил всё, что в них плыло. Он уже переселился в дом с резным палисадом и целующимися голубями на воротах. В его саду пахло липой, а среди корней гнездились конуры, где цепные псы лаяли так, что у чертей лопались перепонки.

С женой Игнат был счастлив, а она с ним нет. С утра они находили общий язык, который к вечеру теряли. И каждый год у них рождались немые дети. «Это ничего, — отговаривался Игнат, — говорят на языке брани, на языке любви молчат». В приданное он взял имя Чихай-Расплюевых, между чётными и нечётными буквами вставлял себя и задал кисели соловьиными язычками.

Но жизнь закусывает мёд перцем. Однажды на Игната напала хворь — в языке у него завелись кости, и он смолк,

боясь, как бы тот не повернулся в ненужную сторону. К тому же у него ослабела рука, его гласные стали пускать петухов, а согласные трещали кузнечиками. И его отстранили от дел. Теперь он горбился у печи, ворочал кочергой угли и, как все старики, слушал упрёки детей. Обступая его вечерами, они, точно побитые псы, шевелили ушами, нарушали тишину молчанием и, говоря невысказанное, обиженно кривили губы.

А Кондрат жил уединённо. Собаки мочились на его ворота, которые никогда не открывались. Тут, в медвежьем углу, он понял, что любой поступок — только грех другого поступка, что их лестница не ведёт ни на небо, ни в ад, а упирается в бесконечный тупик.

Была самая тёмная ночь в году, когда, как считают христиане, родился Бог, а огнепоклонники — сатана. В эту ночь оперение стрелы не ведаёт, куда летит наконечник, а слепые на дуэли убивают зрячих. Раздался стук дверного кольца. Кондрат притаился, зажав в кулаке ключ, но замок лязгнул сам по себе, и ворота заскрежетали.

— Ты молчишь, как лев, — бросил с порога Ага-Кара-Чун, — но заговоришь — словно птица запрыгала...

— Тебя же четвертовали... — проямлил Кондрат, вспомнив глашатаев на площадях: на мирзе польской крови было не меньше, чем русской.

— Душу нельзя разъять, — уставился на него татарин, погладив бритую голову. — Но её можно схоронить заживо.

Кондрат перекрестился: бесов всегда, как комаров.

— Ты спрятался, как гусь под крыло, и бережёшь себя, точно свечу от сквозняка, — глухо вымолвил гость. — Ты думаешь, что путь не вне, но внутри, что крест не целуют в церквах, а носят у сердца под рубахой, но вера без слов мертва.

Он опять провёл пятернёй по голове, расчёсывая несуществующие волосы.

— Кто мелет языком, будет лизать жаровню... — попробовал оправдаться Кондрат. Ему стало казаться, что татарин отбрасывает две тени, которые сливаются в одну, а его речь, наоборот, раздваивается, выталкивая из себя, как роженица, своё отрицание.

— Когда распинали Его, все попрятались, как тени в полдень, — не обращая внимания, продолжил Ага-Кара-Чун, глядя в угол. — В домах закрывали ставни, чтобы не слышать, как кричат третьи петухи...

Он почернел бровями, будто через сплюснутые ноздри выдохнул сажу. «Тринадцатый апостол! — мелькнуло у Кондрата. — Вечный жид...» Он убавил в лампе фитиль, и тень Ага-Кара-Чуна поползла во двор.

— Да-да, — шагнул он ей вслед, и из темноты его речь опять потекла, как два ручья в одном русле, — я был там и с тех пор брожу по свету, стучась в закрытые двери: «Проснись!..»

— Проснись! — тряс за плечо Кондрата королевский гонец. — Зовут...

Его приглашали в Варшаву спорить с иезуитами.

— Диалог, как супружеская любовь, — отговорился он первым, что пришло на ум, — его допустил Бог, монолог — это рукоблудие, а уж публичный диспут — свальной грех...

Однако он больше не хоронил слово. Он завёл голубятню и стал посылать в мир сизарей, привязывая к их лапам сушёную бересту — страницы своих книг. «Каждый человек — писатель, он пишет своё житие невидимыми чернилами», — думал Кондрат, с размаху запуская в небо очередного почтаря. Но мир не откликнулся. Точно глухая птица, он пел свою вечную песнь. И тогда Кондрат послал в него свою смерть. Её услышали. В Москве зазвонили колокола, запели здравицы государю, радуясь, что Всевышний покарал его оскорбителя.

Игнат Трепутень, слюнявя палец, перелистывал страницы, скреплённые рыбьей костью. Это были указы, составленные за жизнь. Ему нравился слог, витиеватая кириллица под его рукой не уступала арабской вязи, но теперь в своих трудах он не узнавал себя. Он видел в них Кондрата Черезобло.

У крика есть эхо, у дерева — тень, у берега — противоположный. У каждого есть тот, кем он не стал. Судьба нечиста на руку, она всегда ведёт двойную игру. Бывает, она бьёт по шару, и тот занимает чужое место.

Чтобы не видеть, как буквы наливались кровью, Игнат, подув на пальцы, загасил свечу.

А на небе судили Кондрата. Вынули из головы память, и она развернула перед ним всю его жизнь. Толпившиеся на облаках ангелы, держа за щекой прошлое, медленно выдували время, и Кондрат ещё раз проживал событие за событием. Как во сне, он видел их со стороны и в обратном порядке. Его вчера теперь начиналось завтра: вот, переступив свою смерть, он, ещё пьяный со сна, отказывается в споре иезуитам, вот слушает исповедь безбородого татарина, вот оправдывается, ссылаясь на нехватку чернил, а потом, измеряя глотками бутылку с медовухой, сокращает царские титулы.

И тут Кондрат понял, что ему суждено было умереть под чужим именем, а отвечать под своим.

«Это не я!» — в ужасе отпрянул он, когда череда событий оборвалась.

И добровольно сошёл в преисподнюю, узнав в себе Игната.

ПОСМОТРИ НА БЛИЖНЕГО СВОЕГО

«**Н**ровожающий — не попутчик», — покачал головой Харитон Скуйбеда, оправляя рясу и закрывая на ключ Библию в железном окладе. Разломив хлебную корку, он мелко перекрестился и принял за постный монастырский суп, то и дело стряхивая с усов чёрствые крошки. Когда он остановился перевести дух, у Иакинфа Сачурина, игравшего его роль, закололо под ложечкой. На другой день боль повторилась, Иакинф сдал анализы, которые оказались «плохими», и он, так и не успев перевести дух, очутился в корпусе для неизлечимых.

Сачурин был из тех, кто убегал от своего времени, но оно вилось кругами и, настигая, норовило заглянуть в лицо. Ему было за пятьдесят, у него была жена и свой круг, из которого он вдруг выпал, как птенец из гнезда. В больнице его окружили случайные, бесконечно далёкие от него люди — он видел таких через стекло автомобиля, а теперь судьба свела их в одной палате, подвешенной между жизнью и смертью.

«Нашего полку прибыло...» — с молчаливой издёвкой встретили его. И Иакинф понял, что к другому, как к отражению в зеркале, можно бесконечно приблизиться, но слиться невозможно.

Дни прилетали, как галки, — каждой было место на заборе, и только его галке не хватало палки. «Мы выкараб-

каемся!» — при свиданиях в вестибюле храбрилась жена, промокая ему виски платком. Она раскладывала на кресле промасленные свёртки, точно сорока, передавала приветы и, перескакивая с пятое на десятое, не замечала, что стала чужой. Ссылаясь на недомогание, Иакинф спешно целовал её в лоб и, удаляясь по сырому, пахнущему аптекой коридору, кусал до крови губы, едва сдерживая ненависть к этой здоровой, пухлой женщине, роднее которой у него никого не было.

«Возлюби ближнего своего, — мерил он шагами пролёгшую между ними пропасть, — возлюби ближнего своего...»

У себя на Кавказе Бек-Агабазов жил на широкую ногу. «Рано или поздно перестаёшь быть мужчиной, — скаля острые зубы, любил повторять он за бокалом вина, — если почувствую, что сдаю — вот... — Он снимал с пальца турецкий перстень и, отворачивая камень, показывал яд. — Если родился горцем, нужно им быть до конца...» Женщины притворно ахали, прикрывая ладонями рты, мужчины хлопали его по плечу. Он умирал три года, измучив родственников и потратив состояние на знахарей. Он скупал чудодейственные, писанные на пергаменте рецепты, в которые заворачивал сушёные травы, и глотал их натощак. Ночами, уставившись в больничный потолок, он, будто покойник, складывал руки поверх простыни и нервно крутил перстень. Его посеревшее лицо наливалось кровью, он начинал задыхаться и, не выдержав, звал сестру. Закатав рукав, та колола успокоительное и возвращалась на пост, так и не заметив, что просыпалась.

Через месяц после выписки Бек-Агабазова, истаявшего, как сосулька, похоронили вместе с его лекарством от жизни. Он так им и не воспользовался: перстень болтался на исхудавшем, прозрачном мизинце, согнутом, как клюв хищной птицы.

Навещали Сачурина и актёры из театра. Когда-то он им радовался, теперь не хотел видеть и отговаривался процедурами. Был конец лета, солнце пригревало допоздна, и сквозь прутья в заборе они видели посреди больничного двора грубо струганный стол, за которым Иакинф, игравший философов и королей, стучал слепыми костяшками домино. В грязном, поношенном халате он находился среди своих, и актёры понимали, что вчера они были попучиками, а сегодня стали провожающими.

«У смертников своё братство, — недоумевали они до-рогой, — отчего же смертные так не любят собратьев?..»

Жизнь для умирающих, что журавль в небе. Когда привезли Аверьяна Богуну, он обводил всех растерянными, бегающими глазами.

— Правда, от этого не умирают? — с детской наивностью обратился он к усатому санитару, толкавшему его каталку.

— Мы люди маленькие... — угрюмо отмахнулся тот.

Свою болезнь Богун готов был обсуждать даже с уборщицей, его сторонились, и он целыми днями вышагивал по коридору, как приведение. Диагноз ему ставили долго, и всё это время слышали, как, закрывшись в уборной, он судорожно всхлипывает. «Ну что ты, как баба, — не выдержал его сосед, которого обследовали так же долго, — рано ещё нюни распускать...» Их приговорили в один день. Прекратив цепляться за таблетки, Богун сразу стал равнодушно холоден. Он вдруг вспомнил, как мальчиком, приехав в деревню, смотрел из окна: была ранняя весна, и собака на снегу ела конские лепёшки. Обогнув навозную кучку, к ней сзади, забросив на спину лапы, пристроился дворовый пёс, а собака, не поднимая морды, продолжала есть. Тогда Аверьяну сделалось мерзко, растирая глаза, он бросился в ванную смыть увиденное, а теперь ему подумалось, что это и есть

жизнь. «Смерть придёт — не увидим», — отвернувшись к тёмному окну, надолго замолкал он. А ночами слушал, как сосед, ворочаясь под одеялом, не находил себе места на скрипучих пружинах и, когда не плакал, беспрерывно хрипел: «Смерть, смерть...»

Женились Сачурины по любви, завели детей и за двадцать лет не скопили друг от друга тайн. А теперь Иакинфа злили её крашенные губы, заплаканные глаза с поплывшей на ресницах тушью, его раздражала её преданность, бессмысленное желание остаться близкой, он понимал, что она ни в чём не виновата, и от этого злился ещё больше. Жизнь берёт своё, смерть — своё: жена оставалась на подмостках, он — за кулисами. Как и все в палате, он уже смотрел на мир с той стороны и, принимая передачи, делился ими с людьми, которых неделю назад не знал. Теперь у них была своя стая: волки, угодившие в капкан, они выли на прошлое, одинокие, как луна в небе, тёрлись спинами и ставили на то, кто кого переживёт. С лицами, пожелтевшими, как страницы давно прочитанной повести, они больше не верили в себя, убедившись, что у судьбы в рукаве всегда лишний козырь.

В полдень, размечая больничные будни, приходил психолог, щурясь от собственных слов, пел Лазаря, а под конец, обведя вокруг руками, советовал:

— Главное — не замыкаться в этих стенах — есть телефон...

— Телефон есть — звонить некому, — обрезал Иакинф.

Ему было страшно и бесконечно жалко себя.

Попав в земное чистилище, Иакинф перечеркнул прежнюю жизнь. Теперь она сморщилась, как мочёное яблоко, и ему стало казаться, что истина бродит здесь, среди пригвождённых к больничной койке.

«Кто ближе своего «я»? — вспоминал он монолог Харитона Скуйбеды, возражавшего Евангелию. — Перед смертью ближние становятся дальними, смерть разлучает не с ними, но с собой...»

Эти мысли предназначались для глухого подвала. Однако ересь не мыши, чтобы водиться в монастыре: к Харитону подступали бритоголовые стражники с колокольчиками в ушах, и он, схватив со стены тяжёлое распятие, отбивался от них, как от бесов. Но постепенно они одолевали: повалив на живот, вязали, прижимая щекой к полу. Харитон уже слышал над висками тихое позвякивание колокольчиков, и тут Иакинф, суча ногами, сбрасывал одеяло на пол.

«Да нет ещё, — не открывая век, различал он над собой перешёптывание санитаров, — спит...»

После отбоя лампочки светили тускло, в полнакала, и по нужде ходили, как тени, боясь оступиться на скользком полу. Пьяные от бессонницы, горбились на стульчаках, тайком от сиделок курили, плели друг другу небылицы или, безразлично уставившись в стену, обменивались молчанием. Составив вниз цветочные горшки, в этот раз на подоконнике болтали ногами восточные люди.

«Йог Раджа Хан состарился в медитации, — как по писанному чеканил один, с громадным, нависшим над губами носом. — Перебирая чётки из вишнёвых косточек, он беспрерывно молился и однажды увидел Брахму. Тот сидел на троне, сияя, как лотос, а вокруг простиралась тьма. «Приблизься!», — безмолвно приказал Брахма, и Раджа Хан увидел, как между ним и троном пролегли его чётки. Осторожно ступая, он двинулся по ним, считая кости шагами, как раньше — пальцами. Боясь повернуть голову, он всё время смотрел на свет, исходящий от Брахмы. «Дорога из чёток узка и ненадежна, — свербило в мозгу, — сколько раз чётки рассыпались, когда рвалась верёвка...» От этих мыслей у него закружилась голова, не удержавшись,

он глянул на зияющую по сторонам бездну. «Не бойся!» — поддержал его Брахма. Раджа Хан вскинул голову и, преодолев страх, медленно двинулся вперёд...

Уперев локти в колени, рассказчик положил голову на кулаки.

«Близок Создатель, да путь к нему долог! Не одну человеческую жизнь уже шёл Раджа Хан, а трон всё не приближался. Раджа Хан утомился, вместе с усталостью пришло отчаяние. «Зачем идти, раз Бога всё равно не достичь?» — решил он. И, зажмурившись, сделал шаг в сторону. Там были чётки! Отступил ещё — и там! Теперь чётки были всюду, куда бы он ни ступал. Он стал приплясывать, оставаясь, как танцор на тёмной сцене, в луче света — это Брахма не сводил с него глаз. «Бога постигаешь, отказавшись от себя», — понял Раджа Хан. И побежал к Богу».

Едва дождавшись окончания, Иакинф громко высморгался, зажимая пальцем нос, и, поплевав на сигарету, с силой швырнул в урну.

Поколения в корпусе менялись быстро, а вокруг, как гены, бродили медики. «Выживет — и так выживет, — шипел про себя Сачурин, — умрёт — и так умрёт...» Он тысячу раз повторял со сцены эту реплику из «Ревизора», вызывая смех, но теперь она наполнилась новым, ужасным смыслом. Он вдруг подумал, что весь мир — это огромная больница, над которой возвышается попечитель богоугодных заведений.

А во сне он по-прежнему бродил по сцене, превращаясь в Харитона Скуйбеду, только теперь выбивался из роли, будто шёл на поводу у обманщика-суфлёра. «Держись за Бога, а больше ни к кому не прилепляйся!» — выступая из тени, учил монах. И добавлял, спотыкаясь на каждом слове, как заика: «Жизнь, что езда на телеге: Бог — это хвост у кобылы, а ближние — виды вдоль дороги...» А иногда хохотал, трясая козлиной бородкой, грозил

пальцем: «Посмотри на ближнего своего — разве ты его выбирал? А неразборчивая любовь — это распутство!..» И Сачурин просыпался в холодном поту, в двух шагах от смерти. Он не приглядывался к ближним, лёжа в темноте, он слышал их стоны, нёс их страдания, которые складывались с его собственными в одну гигантскую пирамиду, подпиравшую небо.

По утрам, соскабливая ложками прилипшую к мискам кашу, угрюмо здоровались, не досчитываясь за столиками соседей. Врачи говорили, что их выписали, но все знали, что они лгут. Привозили и новеньких, с испуганными, существовавшими сами по себе глазами, их встречали, как соседей по купе, понимая, что, любя одних, предаёшь других, а любить всех невозможно. Прибывающие быстро опускались, и только Аверьян Богун, прилаживая к щеке скользкий обмылок, скрёб и скрёб щетину в ржавый, протекающий умывальник...

А Иакинф всё не умирал. Он уже пережил своё поколение, и это смутило врачей.

«Тыщу лет проживёте, — густо покраснел доктор, проверив его анализы, — ошибочка вышла...»

И Сачурин вернулся к жизни. «Провожающий — не попутчик», — повторяет он со сцены из вечера в вечер, превращаясь в Харитона Скуйбеду, и, оправляя рясу, замыкает на ключ Библию в железном окладе. Срывая аплодисменты, он кланяется, прижимая к подбородку цветы, из ближнего ряда на него восторженно смотрит жена, счастье переполняет его в эти мгновенья до кончиков парика, но, перекручивая ночами простыни, он кусает подушку, не в силах забыть других, полных жгучей обиды глаз, которыми провожали его бывшие ближние, которых он предал.

ДРУГОЙ

Не помню, когда я стал Акимом Курилёнком. Как паразит, я живу в его теле — слышу его ушами, вижу его глазами и читаю его мысли, как свою ладонь. Аким коротает свой век в Москве, где рождаются между делом, живут на бегу, а умирают в одиночестве. Мир принадлежит его поколению, но Аким в своём далеко не первый. Когда он проводит ночь с женой, то их ночь не делится пополам, а у каждого своя. «Спят в одной постели, но сны видят разные», — думаю я, когда жена пытается рассказать ему свой. Но Аким её опережает. «Знаешь, во сне мне предстояла встреча со старинным другом... — уставившись в потолок, произносит он с неприятной хрипотцой. — Казалось, мы будем вспоминать юность, и давние вёсны расцветут в нас. А сейчас я перебираю знакомых — моего друга среди них нет...» Сглотнув слюну, он отворачивается к стене. «И от этого мне — как в ледяной пустыне...»

Жена прикусила язык. Ей снилось, что она занимается с Акимом любовью, но казалось, будто она делает это с другим. «Люблю, — шепчет она сквозь распущенные на подушке волосы. — Больше жизни...» И вдруг вспоминает про Акима. «Уходи!» — вскочив с постели, распахивает она дверь, подавая любовнику одежду. А потом ревёт, уткнувшись в одеяло. Проснувшись, жена целует Акима в щёку, собираясь рассказать про «другого». Но он

опережает. «Выгляни в окно, — сухо советует она, — от уличного шума сны рассыпаются в прах...»

Дни стыкуются костяшками домино. Куда ползёт их чёрная змея? Каждое утро Курилёнок тщательно бреется, потом обрастает щетиной в «пробках», отстукивая на руле мелодию из приёмника, а, опоздав на работу, заглядывает в рот начальству. «Пишите объяснительную!» — барабаня по «ролексу», откусывают ему взгляд. «Заявление об уходе!» — кричит он про себя так, что у меня лопаются уши. И побитой собакой плетётся за свой стол. В обед Аким жуёт вместе с котлетой виноватую улыбку, а потом, как дятел, стучит на компьютере. Эхо сводит меня с ума! А зачем тебе всё это? Не слышит! Аким не подозревает о своём расколотом «я», а я молчаливо наблюдаю, как его мозг кружит хоженными тропами, будто стрелки часов, которые скрадывают время, крутятся по растрескавшемуся циферблату.

Раз в неделю Курилёнок навещает мать. Тогда передо мной встаёт его детство. «Мама, мама...» — зовёт он, раздвигая прутиком заросли кусачей крапивы. По шее у него ползёт жук с кровавыми, точно их оставила когтистая пятерня, полосами. Молодая, красивая, мать щелчком сбивает жука и, взяв на руки, несёт Акима на террасу, где пыхтит чайник. «Акимушка, ненаглядный...» — шепчет она, будто с поднебесья. У неё мягкая, тёплая грудь, упёршись в которую, Аким мгновенно засыпает. «И привези лекарства!» — раздаётся в «мобильном». Голос, скрипучий, как ржавое железо, переходит в гудки. Аким чертыхается, ему кажется, что мать давно умерла, а он говорил с автотответчиком. *Старухи, как маленькие девочки, всех превращают в кукол!* Я кричу, забывая, что для него я, как Бог — существо без обратной связи.

Осень, дождливая осень, и дни — как птицы на проводах! В кафе Аким сидит напротив толстяка с пышными усами, которого считает другом, а тот его — врагом.

— Русскому интеллигенту что было нужно? — разливает он «горькую». — Чёрная икра, пол штофа водки и душевные разговоры. А советскому? Поллитровка, селёдка и те же разговоры...

Они быстро чокаются.

— А сейчас даже пьют молча...

Усатый кашляет, а потом разводит вокруг руками:

— Ну, я бы не сказал...

— А ты прислушайся, — гнёт своё Аким, — болтают о чём попало, и никто не говорит о смерти... Выходит, что каждому близко, всем — далеко?

Усатый медленно жуёт мясо и ещё медленнее слова:

— В церкви давно был?

— Что церковь? — кривится Аким. — Только пугает вечным, а живёт преходящим...

Усатый хлопает по плечу:

— А есть ли, Аким, на свете приличные люди?

— Есть, только их мнут узловатыми пальцами, а они, чтобы выжить, как букашки, притворяются мёртвыми, — он проводит ладонью по скатерти, сметая крошки. — Может, и правда, от обезьян произошли — также живём, не осознавая, как во сне...

Рюмки давно опустели, но Аким ещё долго ворчит, размахивая руками, пока не замечает, что остался один, а на него недоумённо косятся официанты.

В церковь он всё же пошёл. Стоял со свечой перед тёмноликой иконой, слушал, как батюшка рассказывал детям из воскресной школы про Сотворение, и ловил себя на странной покорности, которая разливалась внутри. «Страшно и подумать, откуда пошёл мир, — читал я его мысли, — а скажут: «Землю и небо сотворил Бог», делается легко и покойно...» Аким посмотрел на детей: «Может, Бог — это Дед Мороз для взрослых?»

Возвращаясь, он шлёпал по грязи, проходя двором своего дома-колодца, где за грубо струганным столом стучали в домино. Играли парами, и один всё время ругал партнёра. «Давайте играть по-человечески! — взорвался он после очередного проигрыша. — Каждый за себя!» Обстукивая с ботинок глинистые комья, Аким поднялся по лестнице, повернул ключ в железной двери, и мне сделалось тесно в его черепной коробке — его мысли, как спички, вспыхивая, исчезали где-то на стороне.

Жена у Акима чуть косит и, когда нервничает, ресницы у неё хлопают по носу. «Не проведёшь!» — читается в каждом их взмахе. Она не выглядит на свой возраст, а до сих пор, как девушка, которая кажется старше. Курилёнки женились, когда Аким ещё боялся мышей и стеснялся женщин. Теперь мыши боятся его, а женщины стесняются.

«И между этим — жизнь», — чешет в затылке Аким.

«*Жизнь после жизни*», — уточняю я его математику.

Голодный день кидается на приманку другого и виснет, как сушёная рыба. Аким всё больше становится мною. Для жены он по-прежнему уходит на работу, но вместо этого бродит по городу, заглядывая в лица прохожим. А я проникаю в их мысли. Они слагаются из вчерашних новостей, обгрызенных, как семечки, и выплюнутых телевизором, из страхов, модных песен, денежных расчётов и эротических фантазий. Слава Богу, Аким ничего не видит! А передо мной бушуют неподдельные страсти, чужие мысли душат, как запахи, а люди становятся на одно лицо. Проникая сквозь их скорлупу, я вижу мир их глазами, подыскивая, как вирус, нового хозяина.

И не нахожу.

Дни, как костяшки на счётах — белые чередуются с чёрными. Приходил усатый, за чаем подмигивал жене, похлопав по плечу Акима, рекомендовал своего психиатра.

«Интриган! — видел я его чёрные мысли. — Какой же ты интриган!»

А психиатр уже на другой день, щурясь поверх очков, слушал сбивчивый рассказ жены и думал о гонораре.

— Деньги — зло, — говорю я голосом Акима.

— Когда их мало, — вытирает он очки о манжет. —

А почему, голубчик, на работу не ходите?

— Как все?

— Ну да...

— Значит, все родились — и я родился, все умрут — и я тоже?

Он хохочет, а про себя уже ставит диагноз.

— Сколько людей — столько диагнозов, — не разобрав его латыни, чеканю я. — У вас, например, раздвоение — вы ещё здесь, а в мыслях уже далеко...

Он непоницаем.

— У любовницы, которая зовёт вас «бешеным огурцом», когда вы одиннадцатым пальцем измеряете её глубину...

Он краснеет.

— А её муж называет вас «козликом»... Знал бы, с кем ему рога наставляють!

Жена по-своему любит Акима.

— Поедем к морю, — предлагает она. — Лето пролетает — ухватим его за хвост...

А Аким, подбирая слова, думает, что их Вселенная, как разрубленное яйцо, из половинок которого уже не вылупиться птенцу.

— Поедем позже...

А у самого руки чешутся. «Браки заключаются на небесах — на земле оформляют разводы...» — скрипит он зубами. *Решайся, Аким, приговоры выносят на небе, на земле их приводят в исполнение!* Но он трус, и знает это. А может, его «я» — это «мы»? Тогда он знает про себя

всё. Должно быть, помнит, сколько раз всаживал нож начальнику, когда стоял перед ним, нацепив виноватую улыбку. Как бил в школе дразнивших мальчишек, не смея поднять на них руку. Как терпел унижения, насмешки, как, притворяясь живым, гнил на квадратных метрах с чужой, опостылевшей женщиной, вздыхая: «И все так....» *Чем так, может, лучше никак? К чему жизнь через силу? К чему тоскливое однообразие и радость в дни полочки, как выработанный у собаки рефлекс?* А сколько в нём забытых обид, точно перевёрнутых рубашкой карт? Я-то помнил! И теперь выложил перед ним всё. Люди видят себя изнутри — Аким увидел со стороны. И он исчерпал собственное «я», как пересохший колодец, на дне которого обнажилась грязь. Желания, от которых другие закрываются, перестали быть для него тайной, а ложь облетела пожелтевшей листвой. Кто признается в том, что мечтает убить жену? А в том, что желает смерти матери?

И Аким стал себе противен.

Мать позвонила жене. Об Акиме говорили, как о двух разных людях, одна ругала мужа, другая — сына, долго искали общий язык, который нашли, всплакнув от жалости к себе.

И когда становятся чужими? Когда заводят другого?

Каждый для себя — чёрный ящик, собственное «я» для человека — как затылок. Оно отражается в другом, другой — это зеркало, в котором светится правда. Но кому она нужна? Я открыл Акиму глаза, а он покорно выслушал очкарика-психиатра и купил в аптеке таблетки, которые меня убьют! Не глотай их, Аким, они попадут не в желудок, а в то место, где зашита судьба!

Делает вид, что не слышит, до него не докричаться!

И тогда я достаю последний козырь.

Облака пластались, как рёбра на рентгеновском снимке. У собаки, вертевшейся в подворотне, задранный хвост

качался, как метроном, и Аким показалось, будто судьба грозит ему пальцем. На улице он окунулся в толпу, знакомясь с локтями прохожих, а я — с лабиринтом их мыслей. Но может, я и Аким одно? Может, это он, двуликий, читает сердца, как открытую книгу? Прохожие толкались на перекрёстках, а их мысли клевали, как стая хищных птиц, они давили чужеродностью, не давая остаться собой. Опасно видеть мир в его неприкрытой наготе, расставшись с иллюзиями, умирают. А на Акима прозрение обрушилось девятым валом. С ослепительной ясностью он вдруг увидел, что и все живут, будто через силу, увидел, что эгоизм ведёт к одиночеству, а одиночество — к эгоизму, увидел разницу между полами и понял, почему мужчины побеждают в коротких схватках, а женщины, наоборот, в длительных, изнурительных войнах, увидел, что при других, как на фотографиях, люди кажутся счастливыми, а наедине с собой — плачут. Аким увидел также, что от одиночества люди устраивают гонки, которые заменяют им общение, что, ставя подножку, они выказывают любовь, которую не могут проявить иначе, что им страшно, и они требуют от другого то, чего сами не в силах дать.

И его разум едва не помутился.

Он шёл мимо офисов с незримыми вывесками: «Не проси — не дадим, а ноги вытрем!», мимо лиц, зашторенных, как окна, и мимо окон, которые замуровали ни одно лицо.

«Все покинули? — светил посреди толчеи неоновый щит. — Стань себе другом!»

«*Стань другим!*» — расхохотался я.

Прохожие обтекали, как ручьи, у одних голова звенела пустотой, у других крутились газетные заголовки, популярные мелодии, счёт футбольного матча. «Голова с винца тяжелее свинца...» — долбило у парня, с которым Аким прошёл сотню шагов. От его бессмысленной улыбки

Аким свернул в переулок и едва не налетел на платиновую блондинку: «Слишком красивой быть опасно — у мужчин не хватит духу знакомиться...» Развернувшись на каблучках, Аким бросился домой и в изнеможении растянулся на кровати.

Дни, как упавшие листья, раздавленные календарём. Аким как обычно пришёл на работу. И как обычно, его вызвали к начальству за дубовую, с медной табличкой, дверь. Склонившись к столу, начальник высился над бумагами, и, казалось, что галстук служит ему упором для шеи. «С людьми жить — по-волчьи выть!» — невидимыми буквами выведено над его креслом. Он щёлкал от одиночества зубами и, как на луну, выл на судьбу. Его жена была убеждена, что браки заключаются в банке, а держатся на привычке. Мужа она давно не понимала. Зато он знал её лучше, чем она сама. Возвращаясь с работы, он запирался в своей комнате и, щёлкая солями в суставах, перескакивал, как канарейка, по телевизионным каналам. За год он старел на два, накрахмаленные воротнички натирали ему мозоли, а седые волосы уже не скрывали лысины. Аким прочитал в его глазах безмерную усталость, а в голове — то, от чего медленно попятился, толкая спиной тяжёлую дверь.

Дни наступают ночам на пятки и приходят раньше обещанного. В это время календари врут, на разрисованных мелом тротуарах играют в «классики», а лавочки сдаются влюблённым. Около метро кишел муравейник, в котором Аким был, как торчащая соломинка. Замерев со скрещенными руками, он автоматически считывал мысли и думал, что рай может существовать где угодно, кроме ада. И вдруг будто пахнуло: «Люди злы, их города, как чёрные жабы...» Аким поднял голову. Тысячи чужеродных мыслей, как пиявки, набросились на него, они кружили, как ветер, и всё же Аким уловил привлёкший его аромат,

как бабочка — цветок. Со спины он разглядел девушку, которая, смешавшись с толпой, уже спускалась в под-земку. «Ила, Ила... — звал её чей-то голос. — Одинокой быть опасно, заведи себе друга...» Аким, словно ищейка, бросился следом, но вскоре сбился.

Эх, Аким, это был твой единственный шанс!

Птицы мелькали в коротких просветах облаков. Задрав голову, Аким шёл за ними, как слепой за поводырём, рискуя угодить под машину и набить шишки о прохожих, пока не упёрся в библиотеку. Она была пустой, и тысячи книжных шкафов, образуя улицы со своими перекрёстками, нависая полками, как небоскрёбы, представляли вымершим городом. Листая русско-английский разговорник, который выдернул наугад, Аким думал, что беседа складывается из жестов и взглядов, а мысль передаётся больше, чем в развёрнутых предложениях, в междометьях и восклицаниях, что в книгах мёртвые слова заменяют живые, поэтому чтение — это беседа с трупом.

Книга, как зеркало, в котором можно увидеть только себя...

— Чем могу служить?

Библиотекарь горбился на лестнице, держа в руках пыльную тряпку. Его выцветший нафталиновый костюм покрывала перхоть, и он был таким старым, что, казалось, превратился в машину для выживания.

— Скажите, — протянул ему руку Аким, помогая спуститься, — откуда писателям столько знать о героях?

Библиотекарь затрясся от смеха, осыпая перхоть, и стал похож на засохший, свернувшийся лист:

— А чего знать, все несчастны...

«Но каждый по-своему, — добавил про себя я. — Вот ты до сих пор переживаешь ссору с внуком. Горячился, спорил: “Каждый рождается в одной стране и, никуда не выезжая, умирает в другой!” А у самого вот-вот

сосуд в голове лопнет! “Будьте как дети”? Так никто и не вырастет, разве дряхлеет...»

Библиотекарь просвечивал для меня, как лист, изъеденный гусеницей.

— Нашёл, чем удивить! — вдруг всплеснул он руками. — Я тоже насквозь тебя вижу! — Крючковатый палец упёрся Акиму в грудь. — Такие всегда сомневаются! «Возлюби ближнего, как самого себя»? Нет, думаешь ты, по-настоящему надо любить больше, чем себя, иначе торг получается. А сам при этом требуешь от другого то, чего не в силах унести....

Библиотекарь вздохнул:

— И ты совсем не умеешь радоваться...

— Чему?

— Хотя бы тому, что не стар и ещё не сирота, что между тобой и могилой пока стоит мать...

Аким захлопнул разговорник, а когда поднял глаза, библиотекарь исчез. Остался лишь запах нафталина, такой же, как в детстве, когда он прятался от родителей в платяном шкафу. И Аким вспомнил умершего отца. Посадив сына на колени, он стучал каблуками о пол: «Иго-го, лошадка!» и вёз его в далёкие страны. «Ис-чо! Ис-чо!» — громко смеялся Аким. Оказавшись за тридевять земель, он чувствовал себя, как дома. А теперь выбирался за квартал, будто за границу.

Аким посмотрел на пылившиеся тома, и библиотека показалась ему кроссвордом, который, разгадав, отправляют в мусорное ведро.

Мысли, как люди, приходят из ниоткуда, уходят в никуда. Соприкоснувшись со словами, они умирают, их безжизненные останки — всё, что нам остаётся. Но для Акима мысли стали девственно чисты, как слова, ещё не осквернённые произнесением. Проникаясь чужим сознанием,

он погружался в топкую, бесконечную мглу, вселенную, в которой они рождались вспышками «сверхновых». Аким наблюдал их на стадии образов, неясными, бесформенными, ещё не облечёнными в слова. Бывало, вселенная бурлила, и мысли выталкивали из неё друг друга, спеша быть произнесёнными, но многие, так и не найдя своего выражения, исчезали, поглощённые тьмой. Видел Аким и кладбище мыслей, на котором лежат не погребёнными и с которого иногда возвращаются, как привидения. Видел и отражение макрокосма в микрокосме. С рождением, как после Большого взрыва, вселенная расширялась, чтобы потом, как лёгкие, набравшие воздуха, начать сжиматься. И когда она обращалась в точку, человек умирал.

Люди видят других со стороны — Аким увидел изнутри. И, перестав быть загадкой, они уже не вызвали сочувствия. Их горизонт был, как щель, сквозь которую, мышами, сновали куцые мысли. Аким видел их страхи, надежды, зависть, одиночество, неразделённую любовь, видел алчность, тщеславие, гнев, видел их мечты, ни на йоту не возвышающиеся над действительностью.

Эх, Аким, все устают оттого, что созерцают мысли вместо идей, отблеск вместо света, эхо вместо крика. Вокруг много здравого смысла, но нет парадоксов. А всё дело — в отсутствие желания, потому что идеи, как искры, рождаются от внутреннего трения...

Бушует весна, и дни скользят, как рассыпавшиеся бусы. Аким уже месяц в сумасшедшем доме. А его жена встречается с усатым. Когда она приходит в больницу, раскладывая на тумбочке фрукты, я слышу обрывки их разговора.

- А мой возраст? — щурится она раскосыми глазами.
- Мы же ровесники!..
- Женщины стареют раньше...

«*Зато мужчины раньше умирают!*» — чуть не вылетает у меня. Но я молчу. Акима Курилёнка для неё уже нет, он стал для неё «другим», тем, кого она предала во сне.

А Аким — тряпка, и совсем не умеет притворяться. Деланно зевая, я выпроваживаю жену, представляя, как дома она разденется догола, станет накручивать на палец поредевшую косу и, глядя в зеркало на своё немолодое тело, думать, что чувства старше нас, а значит, к ним стоит прислушиваться.

Танцую у костра, дикари впадают в транс, превращаясь в священных, почитаемых ими зверей, обретая повадки леопардов, орлов или крокодилов. Погружаясь в коллективное бессознательное, которое объединяет всё живое, они чувствуют программы, вложенные в чужую плоть, видят мир глазами льва или пантеры, разговаривая с ними на языке, который древнее всех языков. Я — проснувшийся в Акиме дикарь, мне не нужны слова — чтобы проникнуть в суть вещей, надо отрешиться от их названий. Я вижу мир непосредственно, это Аким, как транслятор, в своём дневнике переводит всё в предложения.

Завтра консилиум врачей вынесет Акиму приговор. Одни сочтут его шарлатаном, другие — медиумом. Врачи засыпят Акима вопросами, но он не выдаст секрета, не выпустит меня из тени.

И тогда Акима посадят на уколы, которые избавят его от проклятого дара.

Мы облакаем мысли в слова, расшифровав которые, нас понимают. При таком двойном искажении от мысли остается лишь обглоданный скелет. Но Аким Курилёнок подобно бесплотному духу — демону или ангелу — мог войти в любого, проникнув за дверь его сознания, от которой у него была отмычка. Он стал Богом и, как Бог, от одиночества сотворивший человека, заглядывал в чужие души,

ища родственную. Слиться, переселиться, возродиться в другом, оставшись собой, сменить тело, имя, судьбу, не расставаясь со своим «я», не это ли значит стать бессмертным? Такое путешествие осуществляет и Бог, частица которого остаётся в каждом из нас. Но Акима измучили метаморфозы, он больше не хотел быть другими, не хотел, чтобы перед ним грудой перевёрнутых карт лежали чужие воспоминания, убогие надежды и скучные сны.

Аким прикинулся буйным, и его перевели в отдельную палату.

Из коридора с решётчатыми окнами донеслось:

— У полуголых дикарей женщина всегда найдёт себе мужчину, а мы сходим с ума в одиноких постелях и говорим по телефону сами с собой. Как голодная рыба, бросаемся на пустую блесну и, чтобы познакомиться, выставляем в интернете улыбку, с которой в жизни давно простились... Цоль, а Цоль, если любовь стала виртуальной, зачем всё остальное?

— Чтобы шик превратился в пшик...

Аким встрепенулся — тот же голос, который он слышал тогда у метро.

— Это как?

— А так, поначалу проходят полный курс ШИКа — Школа, Институт, Карьера, а потом приходит ПШИК, когда появляется «Посмертно»...

Шаги удалялись.

Аким бросился к двери, но она крепко заперта, а на окне — ставни.

Дни мелькают, разделённые кляксами ночей. Аким по-прежнему находится в «одиночке», и врачи считают его неизлечимым. Целыми днями он сидит на кровати, как Робинзон на своём острове, погружённый в себя,

как головастик в лужу, а ночами слушает, как в углу свистят мыши.

В посещениях ему было отказано, верная долгу, по утрам звонила жена, но разговоры не клеились, и, чтобы успокоить её совесть, Аким отключил «мобильный».

— На что жалуетесь? — рассеянно интересовался врач, перелистывая историю болезни.

— Ни на что, ни на что...

Вокруг грудились студенты-медики, с которыми врач то и дело переглядывался.

— Знаете, где находитесь?

— Знаю, знаю...

— А зачем слова повторяете?

Врач насторожился, за его плечами загалдели студенты. Как им объяснить, что первый раз говорю за Акима, второй — за себя?

А тут Аким усмехнулся в глаза:

— Бывает, от психологической несовместимости в разных могилах хоронят...

Врач вздёрнул бровь.

— Бывает, живут душа в душу, а жена вдруг развод требует, — приставив ко рту ладонь, зашептал Аким. — Думали, она героиня вашего романа, а оказалось, её жизнь не вмещается и в три...

Врач беспомощно оглянулся.

— Давно вам изменяет! И с кем? С очкариком, которого вы звали «козлик», — поджав ноги, Аким выпрямился на кровати. — Чужие-то рога на виду, а свои как заметить?

Вода капает из проржавевшего умывальника, как кровь из вены. Аким, свернувшись эмбрионом, неподвижен. В полутьме он разглядывает ногти, и ему кажется, что его судьбу подделали, и теперь он ходит между светом и собственной

тенью, как между Сциллой и Харибдой. Лампочка мерцает тускло, и Аким думает, что в «глазок» будет не рассмотреть ни разбросанной по полу одежды, ни скопившейся под кроватью липкой, красноватой лужи...

Утром его разбудили слабые, едва различимые звуки, будто с тонущей подводной лодки подавали сигнал SOS. В палате всё было по-прежнему, и только новая медсестра мыла в углу шприцы. «Илария Собинцоль», — прочитал Аким на нагрудном кармане белого халата, а в мыслях: «Люди злы, их города, как чёрные жабы...» Илария была высокой, коротко стриженной брюнеткой с лицом таким, которое появляется, когда, попрощавшись, снимают маски, оставаясь наедине с собой.

Аким взял её за руку:

— Душа на земле, будто волосы под расчёской.

— Любовь всегда с препятствиями, — ответила она, выводя его на улицу мимо ощерившейся охраны.

А через час солнце уже скакало по рельсам, и поезд увозил их на край света.

Так Аким нашёл себя в Иларии, незнакомец из его сна оказался незнакомкой. А когда встречаются половинки, третий становится лишним. К Акиму пришла любовь, ко мне — смерть. Но я счастлив. Потому что счастье — это возможность умереть, не причинив боли другому.

ТЫРИНС—ПРОТЫРИНС

Давид Кавадраш был художником, но в его присутствии мир казался выцветшим, как полинявшая тряпка. Просыпаясь, он шарил под кроватью, доставая жёлтую, пылившуюся бумагу, и неряшливо писал: «Ночью мы погружаемся в допустимое безумие, а утром пробуждаемся к разрешённому сумасшествию...» Кавадраш подрабатывал бакенщиком, круглый год носил засаленный свитер, высокие рыбацкие сапоги и слыл мизантропом. «Свобода, — гремел он цепью, отвязывая нанятую лодку, — это возможность каждого обворовать каждого». Его сторожку на речной пристани обходили стороной, а когда он скользил мимо с этюдником на плече, сплёвывали.

Художником Кавадраш был непризнанным и, когда слышал про успешных, злился: «А, эти, тыринс-протыринс...» Рисовал он преимущественно зимой, когда работы было мало. Долго вынашивал замысел, а когда тот созревал, ставил мольберт, клал рядом с палитрой краюху чёрного хлеба и, отщипывая от неё, думал, что, бог даст, закончит картину к ледоходу. Он рисовал по памяти летние пейзажи — горбившиеся на горизонте облака, луну на ущербе, передавал красками крики чаек, дыхание заливных лугов и как, выплёскиваясь на берег, свистят сомы. По мере того, как работа продвигалась, краюха черствела, уменьшалась и заканчивалась с последним мазком.

Кавадраш в одиночестве рыбачил, молчал со звёздами и варил уху, которую не с кем было разделить.

— Сколько людей вокруг... — разводили на пристани руками.

— Народу много, — кивал он, — поговорить не с кем...

Единственным его собеседником был о. Савелий, приходивший на реку после воскресной службы.

— Вера, — размахивал он руками, будто продолжал церковную проповедь, — позволяет взглянуть на жизнь отстранённо, не привязываясь к ней с животным остервенением, не становясь заложником тела...

— Дело в воображении, — хмыкал Давыд, — одни верят в то, что можно потрогать, другие — в то, что нельзя. И каждые крутят другим у виска...

Покашливая, о. Савелий гладил клочковатую бороду.

— А главное — свобода, — гнул своё Кавадраш. — Свобода от обстоятельств, условностей, от всего на свете, и Бога в том числе...

О. Савелий резко поднимался.

— Женился бы, что ли, а то совсем рехнёшься... — стреляя глазами, строго отряхивал он рясу и выставял тяжёлый нагрудный крест. А когда Давыд целовал, менял гнев на милость: — Пойми, душа-человек, вдвоём всё иначе — на дуэли стреляться, и то лучше, чем в одиночестве застрелиться...

Иногда к Давыду на огонёк заворачивали женщины. «Весь мир — один большой тыринс-протыринс... — заводил он свою песнь, разливая по чашкам душистую мяту. — Мир бесцветен, чтобы разглядеть его краски, надо родиться слепым...» В сторожке делалось тихо, как в монашеской келье, и только отодвинув заслонку в дымоходе, можно было услышать, как доносится карканье ворон, как ветер сдирает кору с деревьев и как вдалеке, точно младенец в купели, плещется река.

Женщины кутались в шаль и больше не возвращались.

Жизнь — это путь к себе. И Кавадраш на свой счёт давно не обольщался. В глубине он видел страхи, зависть, тщеславие, гниющие, как горы мусора, обиды, видел жадность, равнодушие и желание первенствовать. «К чему всё это? — недоумевал он. — Будто не все умрут?»

Летом о. Савелий много болел и стал плохо ходить. «Умирать начинают с ног, — приговаривал он, растирая ступни пчелиным ядом, — они к земле ближе». Но служил по-прежнему, так что о его недуге не догадывались. После исповеди он приходил особенно печальным. «Бедный Господь! — отворачивался он к реке, и в его голосе сквозила жалость. — Что Он должен выслушивать в молитвах!» Вода раскачивала камыш, над песчаной отмелью хищно носились стрекозы, а бегущие облака складывались в сочувственные лица.

И Кавадраш думал, что каждое учение наполняют собой.

— А ведь мне сегодня семьдесят... — вздохнул однажды о. Савелий.

Высчитывая, сколько ему осталось до этих лет, Кавадраш хотел сказать, что возраст компрометирует — сравнишь мир со скользким безобразным тюленем, а услышишь: «Старый брюзга!»

Но вместо этого улыбнулся:

— Есть старик — убил бы, нет старика — купил бы!

И подарил имениннику картину, похожую на икону. Он нарисовал на ней вещи не как видят их все, направляя взгляд от себя, а наоборот, выворачивая к себе. В результате то, что было дальше, выглядело больше, и человек на заднем плане казался гигантом по сравнению с церковью. О. Савелий прослезился:

— В руках Твоих, Господи, мы только краски, которыми Ты рисуешь мировую картину!

— И это далеко не шедевр... — отвернулся Давыд.

Он давно заметил, что, употребляя одни и те же слова, говорит с другими на разных языках. «Мои разговоры — как у мужчины с женщиной», — думал он, так и не решив, к какому полу причислить себя. Но его непреодолимо тянуло к людям. В рыбацком посёлке он за бутылкой вина прислушивался к молчанию мужчин, сплетням женщин и, напивавшись чужой жизнью, прятался в раковину своей.

Другого берега реки не было видно, поэтому Давыд не удивился, когда двое мужчин с полосатым чемоданом, взяв лодку хмурым, осенним утром, не вернулись к вечеру. Но в полночь, когда хохотала болотная выпь, погрузил на борт фонарь и отправился на поиски. Он нашёл их только на рассвете. В укючинах безжизненно болтались вёсла, а к носу и корме раскинулись тела, под которыми в утреннем холоде густела кровь. Мертвецы сжимали пистолеты, а между ними лежал чемодан, на котором грудились деньги. Аккуратно перевязанных пачек хватало на несколько жизней. Давыд огляделся, вскрыв одну пачку, разбросал купюры, а остальные сгрёб в чемодан. Потом вынул нож, пробил днище и, едва успев перешагнуть в свою лодку, налёг на вёсла. Тонущая лодка с набухшими банкнотами быстро скрылась в тумане. Вернувшись в сторожку, Давыд затопил печь, положил на колени мокрый чемодан и, вытянувшись на стуле, долго смотрел на полыхавшие дрова...

На другой день, когда он, насвистывая, возился с прохуdivшимся бакеном, к нему подошли.

— Вчера двое лодку брали... Не вернули?

Давыд мотнул головой.

— У нас они тоже кое-что взяли...

Его сверлили глазами — Давыд не дрогнул.

— За это шеф шкуру спустит, лучше верни...

Давыд пожал плечами:

— А он у вас большой проныра, ваш шеф?

Его взяли за горло:

— И у него железная хватка...

Давыд задохнулся, у него потекли слёзы.

— Я и говорю, — тронул он покрасневшую шею, — тыринс-протыринс...

От него отвернулись:

— Похоже, не в себе...

С тех пор Кавадраш пошёл в гору. Переехал в город, купил мастерскую. В делах у него появился поверенный, Моисей Яковлевич, ногой открывавший двери модных галерей. «Люди забывчивы, — говорил он, перебирая пуговицы залоснившегося пиджака, — без поддержки имя сходит, как первый снег...» Кавадраш посмеивался, но деньги давал. Его имя стало на слуху, его фотографии запестрели в журналах. Даже критики, называвшие других живописцев «картинщиками» и «прошлым тысячелетием», были к нему благосклонны, искусствоведы и «нужные люди» толкались в его прихожей. Теперь Кавадраш работал, как машина, — его подстёгивали сроки, подгонял Моисей Яковлевич:

— Задаром никто и спички не отдаст... А известность? Почему она должна с неба падать? Всё имеет свою цену, даже манна небесная...

Моисей Яковлевич смотрел большими слезящимися глазами, в которых светились тысячелетия скитаний, и Кавадраш думал, что в юности все одинаковые, но с возрастом каждый приближается к своим предкам, которые проступают на школьных фотографиях вместо сверстников.

— Но есть же глаза... — произносил он, обмакивая кисть в краску. — Люди отличат талант от тыринс-протыринс...

— Люди? — поднимал бровь Моисей Яковлевич. — Да им всё равно! А золотого тельца хоть потрогать можно!

И опять Кавадраш думал, что любое учение наполняют собой.

Поначалу город представлялся ему человеком, который спросонья ворочается с бока на бок и никак не может удобно устроиться, но вскоре он перестал интересоваться другими, перестал, как зверь, приноживаться к чужой жизни. «Это дети живут с оглядкой, — разводя краски, шурился он на плывшие в окне облака, — взрослые видят только себя...» Теперь к Давыду было не подступиться, ключ от сердца он носил в кармане на одной связке с ключами от квартиры и машины. Случалось, ему представляли молодых, которым перешли дорогу его деньги, и тогда его мучили угрызения. А ночами снился Моисей Яковлевич. «К вам это, конечно, не относится, — шептал он, выпячивая губы и делаясь похожим на барсука, — но знаменитость можно сделать даже из пустого места...»

И Кавадраш просыпался в холодном поту.

Дело своё Моисей Яковлевич знал, и Кавадраш вошёл в круг избранных, которые делят между собой все премии и говорят только о своих. На пленэре его окружали репортёры, а в подъезде караулили почитатели. Постепенно он привык к сравнению с великими, разрывался между телевидением, презентациями, выставками и уже подумывал нанять молодых художников, которые бы копировали его манеру. Но таких не нашлось — реализм сменила абстракция. «Дружище, зачем портрет — фотоаппарат же есть!» — хлопали его по плечу представители новых течений. И Давыд уже откровенно халтурил, в душе называя себя «мазилкою», стыдился своего ремесленничества. Но инициалы ставил. И тогда за неудачные наброски дрались музеи, а коллекционеры выкладывали за холсты огромные суммы, так что Кавадрашу казалось, будто вместе с ними покупают его самого. Слава о нём облетела край. «Слыхал, — встретили его на реке, — какой

известный у тебя однофамилец!» Давыд поморщился, ему захотелось всё бросить и вернуться на пристань насовсем, но жизнь — это поезд с билетом в один конец. О. Савелий осунулся, стал глуховат, раздражителен и громко кричал, когда ругался со служками.

— Нет старика — купил бы! — крепко обнял его Давыд. И протянул деньги: — На храм...

— Храм не в брёвнах, а в рёбрах! — покраснев, оттолкнул его о. Савелий.

Бывали у Давыда и дамы. Перед их визитами он заботливо выстригал в ушах волосы и закрашивал предательскую седину. «Возраст компрометирует... — стряхивал он на ковёр пепел с дорогих сигар. — Чтобы видеть красоту мира, надо быть слепым...» Женщины восхищённо кивали, а утром, застёгивая платье, просили картину.

Одевался Кавадраш в респектабельных салонах, тщательно выбирая костюм, долго вертелся перед зеркалом, зная, что покупает его на один раз. «Положение обязывает!» — улыбался он, а про себя думал, что люди слепы, что они примеряют жизнь тех, кого видят снаружи, а не того, кто живёт внутри.

Дни барабанили, как дождь, и Давыд пропускал их через себя, как дырявый зонтик. Раз хмурым, осенним утром к нему позвонили. Он ждал журналиста и, отщипнув от краюхи, открыл с мякишем за щекой. На пороге сутулился крепыш с косым шрамом, а за его спиной те, кто приходили к Давыду на пристани. Давыд попробовал захлопнуть дверь, но крепыш просунул ногу.

— Правда, я — тыринс-протыринс? — ухмыльнулся он. — А вот ты, похоже, притыринс...

Его подручные взяли Кавадраша за бока.

— Предупреждали же, у шефа железная хватка, — зашипели слева.

— Шкуру спустит, — наступили на ногу справа.

В комнате стояла мёртвая тишина, и только прижав ухо к оконному стеклу, можно было различить, как на бульваре падали исхлёстанные дождём ветки, как лаяли спущенные с поводков собаки и как, разбрызгивая лужи, обгоняли свои тени авто.

Крепыш достал пистолет.

— Ты мне должен... — растягивая слова, почесал он рукояткой белевший шрам. — А по счетам платят...

Кавадраш pokrылся потом.

— Я верну, — всё ещё жуя хлеб, зашептал он, не слыша себя. — С процентами...

— А по ним много набежало! — оскалился крепыш. — Можно купить твою жизнь, которая больше ничего не стоит...

Кавадраш широко открыл глаза, точно увидел вылетевшую с глухим выстрелом смерть. Посреди комнаты на картине медленно текла илистая река, над которой кружил нарисованный ветер, и он успел подумать, что его живопись теперь подскочит в цене.

Было пасмурное, дождливое утро. Сняв рыбацкие сапоги, Кавадраш вытянул ноги к гудевшей печке и, доставая из полосатого чемодана пачку за пачкой, швырял в бушевавшее пламя отсыревшие банкноты...

ДЕВУШКА СО СТАНЦИИ СЕБЕЖ

Мена зашла в купе: «Чемодан наверх не ставь — не с твоим радикулитом...» И стрельнув глазами в съёжившуюся у окна попутчицу, развернулась на каблуках.

Поезд тронулся, поплыли провожающие, низкая платформа, далеко светивший в темноте вокзал. Глубокой осенью ездят мало, и в купе мы остались вдвоём. Познакомились легко, едва замелькали огоньки.

— Что же это, Ксения, за город такой Себеж?

— Древний, древнее Москвы...

А доехав до Волоколамска, я уже знал про её маленькую дочь, стареющих родителей, пушистого, вороватого кота. С провинциальной откровенностью она рассказывала про своё детство, как помогала матери по хозяйству, вечерами вязала, а всех радостей — книжки да мечты.

— Какая же я была — самой странно...

— А теперь?

— Ну, теперь я совсем другая...

— Какая же?

— Самостоятельная...

Она некрасивая — широкие скулы, большой рот. К тому же веснушки. Обычный для севера тип.

На чернеющих тучах качалась луна.

— Едем, едем, а она всё рядом... — прошептала Ксения.

— Как судьба, — сощурился я, напуская таинственность. Но она сжала колени, точно собиралась слить их в одно целое, и я почувствовал, как бьётся её сердце.

Каждое утро Ксению за тридцать километров везёт автобус — ближе работу не найти. Она с улыбкой рассказывает, как встаёт на час раньше, чтобы отвести в школу дочь, как умывается, разбивая зимой наледь в колодце, как, экономя электричество, одевается впотьмах перед бесполезным зеркалом, а я представляю морозные сумерки, молчаливых, заспанных пассажиров, каждое слово которых падает, как топор, представляю колючий иней на стёклах, по которому от нечего делать скребут ногтем, мне слышится недовольный лай шофёра и пробирает страх проехать остановку...

За окном тянулись бесконечные, грозно темнеющие леса, Москва, с её шумной, крикливой жизнью, осталась позади, и я подумал, что вся огромная Россия живёт совсем иначе, как вот эта девушка, которую мне никогда не понять.

— Какая у неё грудь, — отвлекаясь, подумал я.

По вагону стали разносить чай. Немногочисленные пассажиры, плотно закусив, готовились ко сну.

— Угощайтесь... — достал я коробку конфет. — Жена положила...

— Она у вас строгая...

— Трудоголичка... В офисах других не держат...

Но Ксения не услышала иронии. У неё огромные глаза, готовые сострадать каждому.

И мне сделалось неловко.

— В конце концов, ей хорошо платят...

Ксения промолчала.

Сосредоточенно разглядывая чайники, она пыталась представить нашу жизнь.

— Вы её, верно, очень любите...

Я пожал плечами:

— У нас сложившиеся отношения и настолько близкие, что, засыпая, я говорю: «Извини, дорогая, я хочу побыть один...»

Она смотрела недоверчиво, не понимая, шучу ли я. И тогда я рассмеялся:

— Берите конфеты...

В Ржеве сошли на перрон. Холодный ночной воздух жёг лицо, под ногами кувыркались жёлтые листья.

— Наденьте, просквозит... — сняла она с шеи шерстяной шарф.

— А вы?

— Ничего, я привыкшая...

С мужем Ксения разошлась через год после свадьбы, но до сих пор не могла успокоиться.

— Бросил он нас... — кусала она губы. — А я бы и сейчас жила... Мне ведь уже тридцать...

— Ну что же тогда мне говорить?

— А вам сколько?

— В два раза больше, чем в паспорте, — сострил я. — Писатель, Ксения, ведёт двойную жизнь: тянет, как все, годы, а потом их ещё и записывает...

— Так вы совсем старик... — рассмеялась она. И вдруг широко открыла глаза: — Счастливым, вы живёте дважды...

— А такое ли это счастье?

Мне сделалось грустно.

Я подумал, что мне уже давно не с кем перемолвиться. Или помолчать. Таким для исповеди остаётся дорога.

— Вот вы меня про жену спрашивали... — водил я по столу хлебные крошки. — Какая там любовь! Мы давно живём по привычке, жалим друг друга... И сын, как

чучело, набит нашими колкостями. Раньше думал, ради него терплю, а он растёт неуч, лодырь... Эх, Ксения, как ужасно везде быть своим, когда кругом чужие! Ладно бы ещё в Бога верил — нёс свой крест, так и в Бога...

Ксения слушала, не отрываясь, казалось, ещё чуть-чуть, и она расплчется.

Наконец, я выговорился, стало легче.

— А что, Ксюша, можно к вам приехать?

Она посмотрела не мигая — так заманивают русалки.

— Приезжайте... У нас в школе учителей не хватает...

И отвернулась к окну.

— А знаете, ведь у меня педагогическое образование, я раньше в интернате для слепоглухонемых работала. А потом ушла. Раз увидела, как девочки пожатием рук рассказывают о приставаниях интернатовского сторожа. Так не перенесла стыда...

— Господи, а вы-то здесь при чём?

— Как при чём? Невыносима стала своя полноценность и при этом абсолютное бессилие...

В глазах у неё стояли слёзы, губы дрожали.

«Истеричка», — мелькнуло у меня.

— А калеки? В церковь мимо идёшь — не знаешь, куда руки-ноги деть! Нет, нам грех жаловаться, мы по сравнению с ними боги...

Она задёрнула занавеску.

— А дауны? Разве они виноваты?

И посмотрела так, будто я знал ответ.

— И дались вам эти дауны... — проворчал я с глухим раздражением. — Да и так ли мы далеки от них? — Я указал подбородком на спящих: — Разве «нормальные» нам ближе?

Она вздохнула:

— Вы и, правда, чем-то от них отличаетесь...

— Белая ворона... — безнадёжно махнул я.

И она опять была готова меня жалеть.

В тамбуре, куда я вышел курить, стоял грохот. От тряски я вцепился в лупившийся краской поручень и не заметил, как открылась дверь.

— Можно я с вами постою? — перекрикивала шум Ксения. — Одной страшно, да и за стенкой храпят... И как они могут спать?

Она редко куда выбиралась, и теперь её глаза возбуждённо блестели. Мы стояли очень близко, когда я разгонял дым, наши руки соприкасались, но я заговорил совсем не к месту.

— Представляете, Ксюша, что сегодня в журналах печатают — читать стыдно...

Я назвал несколько фамилий. Она не знала никого.

— В нашу глухомань и птица-то редкая долетит...

Залилась краской и, отвернувшись, стала ковырять растрескавшуюся стену.

А я опять подумал, не уехать ли в Себеж?

К стеклу, гримасничая, липла луна.

— На неё долго нельзя смотреть... — спиной загородила её Ксения. — Бабушка говорила: «Луна душу притягивает».

— Это у кого есть...

Она посмотрела с удивлением:

— А как же без души? Душа и у камня есть.

Я глубоко затаился.

— По-вашему, Ксения, люди добрые?

— Конечно, добрые, — убеждённо кивнула она. — Только многие несчастны, как вы...

Я смял окурок.

— Да вы, прямо, цыганка, может, ручку позолотить?

Она вспыхнула до корней волос.

— Нежная вы душа, — взял я её за локоть, — пойдёмте в купе.

Ксения гостила у тётки в Воронеже, и в столице была проездом.

— Тяжело у вас, — выносила она приговор. — Торопятся, бегут, как на пожар... А куда торопиться? Где ждут, туда всегда успеешь.

— Вас-то дома ждут?

— Ещё бы, я же с подарками.

А я вспомнил, как часто, в одиночестве присев на дорожку, хлопал себя по коленям: «Ну, пора, нечего кисели разводить...»

Жизнь, как поезд, катилась по рельсам, но её колёса стучали для нас по-разному.

«Тебя никто не ждёт, — слышалось мне, — никто, никто, никто...»

В Себеже поезд стоял две минуты.

— Ну, прощайте... — просто протянула она руку.

Пожимая узкую, тёплую ладонь, я не выдержал:

— Вы необыкновенная, Ксюша... Вы себе цену не знаете... Дай Бог вам счастья...

Она покраснела:

— Будет вам...

И, выдернув руку, взялась за поклажу. На решётчатой подножке обернулась:

— И вам счастья...

На мгновение мне неудержимо захотелось сойти следом. Бросить всё и уйти в ночь! Но проводница уже поднимала железные сходни...

Вернувшись в купе, я долго не мог успокоиться, всё вокруг ещё хранило её присутствие. Я вышел в тамбур — она была и там. Занимался рассвет, прислонившись через кулак к холодному, дребезжащему стеклу, я смотрел на бледное, розовеющее небо, на медленно тускневшую луну, а подо мной с прежней силой стучали колеса...

ТРУДНЫЕ УРОКИ ХРИСТИАНСТВА

СОКРАТ СЛУШАЕТ НАГОРНУЮ ПРОПОВЕДЬ

Блуждая по царству мёртвых, я пересёк обтекающий его Стикс и оказался в жаркой каменистой пустыне.

«Блаженны нищие духом», — доносилось с холма. Человек в белой хламиде простирал руки к толпе восточных варваров, которых я узнал по завитым бородам.

«Какого он племени?» — подумал я.

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся...»

В тихом голосе сквозила неизбывная грусть. Не разбирая языка, на котором он говорил, я, странным образом, понимал его.

Приблизившись, я смешался с толпой.

«Блаженны жаждущие правды, ибо они насытятся...»

«Когда? — крикнул я. — Пока я знаю только то, что ничего не знаю!»

На меня обратили внимание не более чем на мошку. Грубые, обожжённые солнцем лица, все пучили глаза на проповедника. Признаться, и я дивился его риторике, прикидывая, у кого из наших он учился.

«Вы — соль земли... Вы — свет мира...»

«Лесть принесёт тебе пальмовый венок!» — скривился я. И тут же обратился в слух: «Не судите, да не судимы будете...»

«Для этого надо лишиться не только языка, но и разума!»

Я открыл, было, рот, но тут вспомнил про цикуту. И почему его сентенциям не следовали мои сограждане?

«Не противься злomu, и кто ударит тебя в правую щёку, подставь тому левую...»

Не нарушая молчания, вокруг согласно кивали.

«Твоему закону, — не выдержал я, — должны подчиняться все, иначе он превратится в орудие тиранов!»

На меня зашикали, и, повернувшись, я поспешно удалился.

Под смоковницей ютился постоянный двор, хозяин понимал по-гречески, и мы, черпая из амфоры неразбавленное вино, срывали смokвы, не вставая из-за стола. Хозяин рассказывал о пылающем кусте, из которого вещало божество, я — о храмах с портиками и мраморными богами.

«Храм, как и Бог, один, — нахмурился он. — И Он не терпит Своих изваяний!»

У него отсутствовало сомнение, его речь была цветистой, и метафора заменяла в ней силлогизм. Мы так заговорились, что оборвали все смokвы и не заметили подсевшего иудея. Пряча живот под стол, он сообщил, что пророка с холма давно распяли, а его ученика побили камнями.

«Варвары», — скривился я.

И опять вспомнил про цикуту.

Иудей оказался мытарем, он рассказал, как, собирая подать, увидел на дороге Бога — того, распятого. Я усмехнулся.

— Безумие для эллинов, — зло проворчал он.

Я глубже погрузил язык в вино.

— Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, — гнул своё мытарь, — *тогда* же лицом к лицу...

— Когда? — покачал я головой.

Пока был жив, я тоже надеялся, что с кончиной откроется свет, но в подземной обители не видно даже вытянутой

руки. И всё же мне было жаль ратора, который сводил жизнь к притчам и размахивал оливковой ветвью, не появившись мечом. «Блаженны миротворцы, — вспомнил я, — их назовут сыновьями Божиими...» Возможно, но прежде убьют.

Пригубив вина, мытарь меж тем шептал о грехопадении, которое нужно искупить. Признаться, я долго не мог его понять, а, поняв, рассмеялся: «Если всемогущий Творец создал нас, как червивое яблоко, то кто же тому виною?» Но мытарь оказался, как моя Ксантиппа — вылил на меня ведро помоев и заявил, что я — его жало в плоть.

А потом стал хвастать, что понесёт свет греческим невежам.

Глупец, Афины никогда не откроют ворот твоему учению! И потом, разве ты не знаешь, что мир — только часть царства мёртвых, за пределы которого я так и не вышел?

ВЕРГИЛИЙ ЗНАКОМИТСЯ С УЧЕНИЕМ ХРИСТА

«**Н**рошное и будущее одинаково недостижимы, мы ощупываем их, как слепцы, но к чему прикасаемся — загадка...»

От этих мыслей я очнулся в апрельские календы семьсот восемьдесят девятого года от основания Города посреди сырых, пропахших известью катакомб. Был час первого факела, вокруг, как летучие мыши, грудились заговорщики, прячущие лица под масками. Они читали вслух папирусные свитки, из которых я узнал историю их вождя, осуждённого иудейским синедрионом и распятого нашим прокуратором.

— Ты же сам пророчествовал о нём, — показали они четвёртую эклогу «Буколик».

Я разглядел горбатые носы и глаза навывкате.

— После его воскресения каждый может попасть в Царство Небесное! — тронул меня бородач, которого звали «Камень».

— После Лукреция, — поморщился я, — даже блаженство Элизиума сомнительно...

Заговорщики крестили лбы пальцами, как злые духи, называли хлеб плотью, а вино — кровью. Подражая своему вождю, они возвеличивали страдания и участь гонимых. «Почему синедрион осудил их безумного соотечественника?» — гадал я. И вдруг страшная мысль мелькнула у меня. Им пожертвовали, чтобы создать легенду, которая приведёт римлян на крест! Этот миф о торжествующей слабости — коварный ответ нашим легионам! Так восточные черви подточат римского Орла! С экстатическим упоением заговорщики рисовали рай, списанный с Золотого века, и ад мрачнее Эреба. Низкие своды, засиженные слизняками, были подстать этим рассказам. Но я не слушал, размышляя, как предостеречь будущего императора. И тут снаружи донёсся шум. «Кто с крестом к нам придёт, на кресте и погибнет!» — закричал я, выбегая на улицу под защиту городской стражи.

Кошмар развеялся. Меня снова окружала безмятежная жизнь, налаженная властью божественного Августа, а фонтан во дворе по-прежнему струил воду в бассейн с рыбками. «Мы прикасаемся к прошлому, в котором полыхал Карфаген, — думал я под впечатлением от своего видения, — но как прикоснуться к будущему, в котором будет гореть Рим?» И тогда грозным предупреждением я написал о проклятии Дидоны, о мести её потомков сыновьям Энея.

МЕССАЛИНА НАБЛЮДАЕТ СТРАСТИ ХРИСТОВЫ

Кувшин фалернского на вечернем пиру перенёс меня ночью в южную провинцию. Здесь царил вчерашний день — статуи на площадях знаменовали правление умершего императора. «Время на Юге, как и во сне, течёт медленнее», — догадалась я, разглядывая вышедшие из моды одежды.

«Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своём!» — обращался к толпе человек с измождённым лицом.

— Он что, евнух? — дёрнула я за рукав стоявшего рядом рыбака.

Тот пожал плечами.

— Знаешь его?

— Нет.

— А его? — достала я сестерций с изображением императора.

Он побледнел.

— Кесаря?

— Ну да, Тиберия...

— Божественного Тиберия Клавдия Нерона, принявшего имя Цезаря Августа?

Низкий раб! У черни языки, как помело, а изворотливость в крови!

«Кесарю — кесарево, а Богу — Богово...» — донеслось до меня.

Вокруг зевали, прикрывая рты мозолистыми ладонями.

— Кто это? — обратилась я к красивому юноше с пушком на губах.

— Учитель мира.

— Почему же его не слушают?

Толпа стала расходиться.

— Болтать можно долго, — бросил на ходу почерневший от пыли крестьянин.

— Поля не выкошены, а солнце ещё высоко, — подхватил другой.

Юноша брезгливо поморщился:

— Птицы небесные не сеют, не жнут...

Мне нравился этот смуглый красавец, и, когда он пригласил меня домой, я с трепетом ожидала предложения разделить ложе. Но вместо объятий меня ждал рассказ о непорочном зачатии и любви к ближнему.

— Как может женщина любить ближнего, а зачать непорочно? — упражняясь в софистике, рассмеялась я. И пустила в ход свои чары: — Ты ещё будешь стариком — бесполом, утратившим мужскую силу и не обретшим женской слабости...

Но юноша был непреклонен. Он твердил об искуплении и первородном грехе.

— Наказание несут за нарушение закона, — при этих словах моё лицо непроизвольно зарумянилось, — но с рождения считать себя преступником? Испытывать блаженство от раскаяния? Чудовищно!

Призвав в свидетели римскую гордость, я направилась к выходу. Тогда, опустив голову, юноша поведал, как отказался пойти за Учителем, раздав имение нищим.

— Что бы это изменило? — бросила я в дверях. — Только увеличило бы число голодранцев!

Иерусалим — город маленький, но убивают в нём быстро, пока я объехала его на осле, незадачливого проповедника уже казнили. Он выдавал себя за иудейского царя, а оказался сыном плотника. «Рабы, — задрал голову, смотрела я на крест в лучах заходящего солнца, — мало ли их распяли...» Вокруг скорбно молчали. «Народ никогда не поднимется — поднимется пыль», — подумала я. Женщины поодаль прятали лица под платками, а рядом

стоял на коленях богатый юноша, красота которого померкла от слёз. «Я искуплю свою ошибку, — шептал он. — Мы превратим ваши ночи в дни!» И тут во сне я перенеслась в свои покои. Стояла ночь, но за окном было светло, как днём, — это горел Рим, подожжённый учениками сына плотника.

МАРКС ИЗУЧАЕТ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Зима в Трире выдалась промозглой — за окном падал снег, и в университетской библиотеке Маркс был один. «Откуда известно, как дьявол искушал в пустыне Христа? — листал он Писание. — От Христа? Но в этом есть что-то человеческое, недостойное Бога...»

Прогредел гром, начиналась зимняя гроза.

«Иисус говорил, что послан Отцом, — выводил на полях Маркс, — сначала его пророчества противоречивы, точно он поперхнулся истиной. Лишь чудеса заставили его поверить, что он — Бог, и взойти на крест, будто на небо. Однако муки пересилили: «Боже мой, для чего Ты оставил Меня?» Человек остался человеком, Бог покинул земное обличье...»

Маркс продолжил чтение, потом, покачав головой, снова погрузился в записи.

«Царство Небесное — за гробом, значит, его отсрочка неопределённая, значит, вера — это обещание. Но чем оно обеспечено? Писанием четырёх полуграмотных евреев?»

Сосредоточившись на своих мыслях, Маркс не обращал внимания на громовые раскаты.

«Иерархия — вот камень преткновения, вот что мешает земному счастью! — всё больше воодушевлялся

он. — Но на небе свои классы — серафимы и херувимы возвышаются над святыми и мучениками...» Маркс посадил чернильное пятно, промокнув бумагой, снова взялся за перо. Но тут его отвлекли крики на улице. Он поднял голову: шёл тридцать третий год, солнце клонило пятницу к субботе, и в Иудее стояла необычная для апреля жара. Перед глазами у Маркса всё поплыло, теперь он видел мир перевёрнутым — босые ноги, пыльные сандалии, родинки, прикрытые подбородком, и летящую с криком гусиную стаю, которая извивалась в небе, как кнут. Маркс превратился в деревянный крест, который, покачивая, несли на Лобное место. Примеряясь, его врыли в сухую землю, скрипевшую, как песок, потом, положив на бок, прибили дощечку с надписями на арамейском, греческом и латыни. Она обожгла, как терновник, Маркс вздрогнул, будто в него вонзились тысячи колючек. А когда через окровавленные кисти ему стали вколачивать гвозди, он застонал — беззвучно, как Вселенная.

ПИЛАТ ВСПОМИНАЕТ ДЕЛО НАЗАРЕТЯНИНА

— Зачем ты убил Меня? — услышал я грозный голос. — Я нёс Слово, а ты распял Меня! Крылатый ангел со строгими глазами подтолкнул меня к престолу из облаков, рядом с песочными часами. Так я понял, что умер и держу ответ перед Всевышним. На земле я приговаривал к смерти тысячи преступников — от Германии до Иудеи — разве всех упомнишь?

— Ты говоришь, — произнёс я, чтобы не молчать.

На меня зашикали.

— Видишь, тебя обличают!

— Не судите, да не будете судимы... — ввернул я первое, что крутилось на языке.

И уткнулся под ноги. Стало слышно, как в часах сыплется песок.

— Почему ты молчишь, разве не знаешь — от Меня зависит твоя судьба?

— Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано Тебе свыше, значит, более греха на Том, кто всё устроил. А если это Ты, то при чём здесь я?

Мне вlepили пощёчину.

— Оставь, Михаил, пусть оправдывается, как хочет!

Я усмехнулся:

— Ты ждёшь оправданий? Говоришь, весь мир свидетельствует против меня? Но это Твой мир! А римский закон был не от мира сего, — обвёл я вокруг руками. И взглянул на черневшую внизу бездну: — А на земле всегда осуждали его нарушителей — в Иудее так поступали прокураторы и до меня, и после! Их ставили свидетельствовать о заключённой в законе истине...

— Что есть истина? — перебил Господь со странной смесью презрения и жалости. И, вздохнув, обратился к ангелам: — Я не нахожу на нём вины...

— Но он нарушил Твои законы, — прогремел ключами бородатый старик с лицом, искажённым злобой. — Я не могу принять его!

— О, Пётр, тысячи других распинали людей, а он распял Бога — Я прощаю его, простите и вы...

Вокруг возмущённо закричали:

— Он посягал на Твою власть! Он оскорбил Твоё величие!

— И что? Чем Христос на суде у Пилата отличается от Пилата на суде у Христа? Я повторяю: возлюбите врагов своих!

— Своих — да, Твоих — нет! Он — невиданный злодей, скинь, скинь его в геенну огненную, пусть его пепел падёт на нас!

— Будь по-вашему, — нахмурился Господь. — Однако закон на небе непреложен, как на земле: сегодня Пасха, а у нас ещё подсудимый Варавва — кого отпустить?

— Варавву, Варавву!

Я ужаснулся.

— Они верят искренне и глубоко, — умыл руки Господь, — только сами не знают, во что...

Ангелы мгновенно расступились, а меня с хохотом окружили бесы. Чёрные от копоти, они щёлкали хвостами, как бичом: «Ну что, сын императорский, спасут тебя твои легионы от нашего?» На меня уже накинули багряницу, приладили терновый венок.

И тут в часах упала последняя песчинка.

— Радуйся, Пилат, — улыбнулся Господь, — от Сотворения прошло столько времени, сколько отпущено, так что прощаются все — и живые, и мёртвые!

Вокруг начались танцы, ангелы целовались с демонами, змеи стали как голуби, а небо громовыми раскатами наполнил смех. Все двери распахнулись, и Пётр выбросил бесполезные ключи.

— Дело прошлое, — похлопал он меня по плечу, — но скажи, Пилат, ты бы снова распял праведника, который стучал в железные ставни и кричал: «Проснись!»

— Проснись... — тряс меня за плечо коренастый центурион, пурпурный плащ которого слепил, как багряница. Был шестой час, но жара в Иудее ещё не спала.

— Что тебе?

— Прокуратор, — поднял ладонь гвардеец, — царь Ирод прислал на суд какого-то галилеянина...

МОТЕЛЬ ЛЕТОМ

Была ночь, когда волки воют на луну, а галлюцинации делаются острее.
— Человек не принадлежит времени, которое на дворе, — тряс козлиной бородой Фома Квыч, — рядом живут люди разных эпох...

— Ну вот, опять сел на своего монгольского «конька», — крутили ему у виска.

Но Фоме было наплевать. Для других он оставался щедрым на «двойки» учителем истории из провинциального захолустья, для себя давно был Джельмэ-нойоном, сотником из тумена Бату-хана. Только что его бахадуры атаковали лавой, а после, рассыпавшись по степи, добывали арканом ясак. Бой оказался короче молитвы, в которой они просили победу, а вереница пленников длиннее горизонта. Разведя костры из высохшего конского помёта, послушные татарки цокали языками, доставая из-под сёдел козий сыр, раздвигали скулы, что означало смех.

— У одной женщины муж сошёл с ума... — рассказывал по телефону Фома Квыч.

Но его перебивал смех:

— Знаем, знаем! Бедная твоя жена!

И он долго слушал короткие гудки.

Грабить обоз раньше срока запрещала великая яса — тем сладостнее был этот миг. Роясь в телегах, ордынцы

дырявили пальцами дорогие шелка, скоблили золото с изображений Бога. Устав от дележа, закололи овцу, вытерев прежде сабли о войлочную юрту — нельзя, чтобы кровь врага попадала в пищу, — жарили мясо, скрестив клинки над раскалёнными углями.

«Ай, молодец, — щёлкали они языками, тыча в Джельмэ-нойона, который первым врубился в строй выставленных пик. — Ты был, словно тигр, раздвигавший бамбук...»

С женой они старели в одном зеркале, но деньги держали в разных карманах. И пересчитывали их, как прожитые годы, — повернувшись спинами. Фома жил с детства в родительской квартире, но постепенно её пространство стало сжиматься, как сохнущая телячья кожа, оставив к сорока лишь стоптанные тапочки и телевизор в углу. А когда тапочки перебрались из-под кровати в больницу, ему ничего не оставалось, как отправиться следом. Но Фома не заметил перемены. «Реальность всем мачеха», — думал он, и мечты уносили его в дикие степи, где паслись бесчисленные резвые табуны.

Ворота заскрипели на ржавых петлях, вместе с ключами от города вынесли хлеб-соль и чарку медовухи. Джельмэ-нойон выбил из рук поднос: «Вот питьё, которое всегда с тобой, и ты уверен, что это не отрава». Он сделал надрез на шее лошади и, пока нукеры крепко удерживали её, жадно припал к ранке.

Фома Квыч, морщась, запивал лекарства красноватым тёплым киселём.

— Земля переполнена, как летний мотель, — ворчал сосед справа, — прибывают, съезжают, всех и не упомнишь...

— Память коротка, — вторили ему слева, — наступишь на муравейник — насекомые бегают, копошатся. А потом забывают, будто не было ни раздавленных, ни разрушений...

— У природы нет выходных, — поддакивал Фома, —
одни будни...

Перед боем зарезали жертвенного барана, по очереди слизывали кровь с кривой сабли. Вопли шамана вместе с сизым дымом долетали до ночных звёзд, с которых смотрели умершие воины. Призывая в свидетели темневшее небо, клялись в верности, опуская пальцы в кумыс, мазали друг другу лица, а женщины латали одежду костяными иглами.

Джельмэ-нойон, обернув копыта скакуна пучками травы, отправился на разведку, но чуткое ухо славянина, припавшего к земле, различило далёкий топот, и ему пришлось вернуться. Туго набитый колчан стучал о спину, опущенные вниз стрелы не обагрила кровь, словно когти хищника, напрасно стерёгшего добычу.

От этого Джельмэ-нойона душила ярость, а сердце вралось в бой.

На Вербное воскресенье больных отпустили в церковь. Ступая со свечой по разбросанным на полу веткам, Фома вместо молитвы твердил, как пономарь: «И угораздило же меня родиться в чужое время». С этими словами он приложился к чудотворной иконе Николая угодника и едва встретился глазами со святым — пламя, вспыхнув, отразилось в зеницах святого, — как почувствовал, что вместо свечи сжимает кривую саблю, размахивая которой чуть не сбивает с головы кожаный монгольский шлем. Пыль ела глаза — летящие впереди тумены вытоптали ковыль, выворотили комья сухого, жаркого чернозёма, а на горизонте ощетинились пиками голые русские — скинув холщовые рубахи, они прикрывались лишь крестами на лыковых верёвках. Фома стал теперь одним из тьмы: его жизнь определял семихвостый бунчук возле ханского

шатра, а смерть — неприятельская отвага. Как и все, он улюлюкал, прогоняя страх, и пускал с коня хищно свистевшие стрелы. Но, странным образом, он не чувствовал воодушевления. Его гнала вперёд привычка повиноваться и угрюмая улыбка палача, всегда готового перебить позвоночник суковатой дубиной. Он уже вспоминал утраченные тапочки и телевизор в углу. Прежде чем врубиться в сомкнутые ряды, Фома успел подумать, что так и не нашёл себя, что человек — пасынок любого времени, но лучше оставаться в своём. А потом увидел бородача и сходу наскочил на его пику. Выбивая зубы, железное острие проткнуло язык, вышло на затылке. Но боли Фома не почувствовал — только холод на губах. В тесноте кружилась голова, пахло ладаном: упав на колени, он целовал стекло чудотворной иконы Николая угодника.

«Воображение всех подводит, — выслушал его врач, теребя пуговицу на халате, — видимо, и план этого мира был также прекрасен...»

И, разведя руками, выписал Фому домой.

«Сбывшиеся фантазии разочаровывают», — закрыв книгу, подвёл черту Фёдор Швыков, отметив закладкой рассказ «Мотель летом». Было воскресное утро, но дела не ждали: Фёдор держал придорожную гостиницу, и нетерпеливые руки уже дёргали за дверной колокольчик. Весь день он крутился по дому, скрипя разошедшей лестницей, однако история про Фому Кыча не шла из головы. «Зачем чужая жизнь, — чесал он затылок, принимая очередных постояльцев, — свою бы знать наперёд...» Раньше Фёдор служил в городском департаменте, но, поселившись у обочины, избавил себя от ежедневной улыбки начальства. Как и все рыжие, он был нечист на руку, но перед едой не забывал крестить лоб. И всё равно был

несчастлив. Ему казалось, что он попал на свет с чёрного входа и бредёт на ощупь, спиной вперёд, боясь оступиться, словно под каждой половицей караулит смерть. «Не мечтать — значит и не жить, — приговаривал он, расхаживая по комнатам, — много мечтать — не жить вовсе...» В гостинице не было отопления, и зимой Фёдор закрывал лишние помещения, перебирался к камину, читал при лучине, ожидая Вербное воскресенье, когда вместе с пробившимися на лице веснушками откроет новый сезон.

К вечеру Фёдор устроил посиделки.

— Что в лоб, что по лбу, — разгрызая орехи, вспоминал он прочитанный накануне рассказ, — зачем искать счастье на стороне, влезая в чужую шкуру, когда другой всё равно такой же...

Постоялец с заспанными глазами тянул мелкими глотками пиво и меланхолично кивал. Костюм сидел на нём, будто кожа на барабане, и был таким чёрным, что казался белым.

— Вот если бы своё время уметь рассчитывать, — продолжал Фёдор, часто моргая.

— Знал я одного, — зевнул гость в чёрном, отставляя кружку, — предлагал всем махнутья не глядя — мыслями, возрастом, именем. Только ничего хорошего из этого не вышло — сгинул в степях, участвуя в татарских набегах...

— Не мечтать — значит и не жить, — завёл было Фёдор свою пластинку.

Но гость перебил:

— А вы бы согласились? В самом деле? — вдруг приблизил он кошачьи зрачки.

Фёдор стукнул себя в грудь, и его ответ, собравшись в уголках рта, стал твёрдым, как зубы.

Он чуть было не поперхнулся им.

— Ой, только не благодарите, — замахал руками проезжий, поправляя манжеты.

Фёдор мотнул головой так, что его подбородок на мгновение прилип к шее, а когда вновь поднял глаза, то незнакомца уже не было — он сидел перед зеркалом, из которого на него смотрел старик. Перепрыгнув через «здесь и сейчас», Фёдор Швыков стал собой в будущем.

Он по-прежнему держал гостиницу, но звали его теперь Иннокентий Колибаба.

По ночам у старика ныли кости. В доме было много кроватей, и от страха умереть во сне он переходил с одной на другую, сбивая со следа смерть. С этой же целью он приглашал на ночлег бездомных, полагая, что смерть слепа и, перепутав, возьмёт вместо него бродягу.

«Она рядом», — шептал он, снимая утром простыни с уже окоченевших покойников, и веснушки, гулявшие по его лицу, сбивались в кучу.

Но пугался Иннокентий напрасно. Время текло для него в обратную сторону, он шёл назад, видя будущее, которое было для него уже прошлым. Его седые волосы постепенно чернели, а морщины перебежали с лица на ладони. Он читал по ним судьбу, но линии упирались в тупик, в то место, когда, надеясь на лучшее, он стал Иннокентием Колибабой. Однако с тех пор ничего не менялось, словно он перевернул вывеску «МОТЕЛЬ ЛЕТОМ». Ему казалось, что он увидит будущее, но он видел лишь прошлое, да и то смутно, едва отличая в нём правду от вымысла. Иногда он видел сны, в которых опять был Фёдором Швыковым, набрав в щёки воздух, дул на прошлое, как дуют на воду, чтобы освежить, но ничего не помогало. Непрожитое вставало в памяти, и это было равнозначно мечтам, а знание предстоящих событий не искупало их мелкой значимости. Фёдор Швыков по-прежнему шёл на ощупь, спиной вперёд. Если раньше его мучили сомнения, то теперь он сожалел, что придётся жить так, а не иначе. «От себя не уйдёшь, — думал он,

терзаясь определённой, — себя не найдёшь и в будущем». Тогда он сосредоточился на том моменте, который ускользал от него, как тень, одновременно преследуя по пятам, он попытался вспомнить, как стал Иннокентием Колибабой.

И однажды понял. Когда в дверь вошёл незнакомец в чёрном, Иннокентий грыз орехи и, забыв выплюнуть скорлупу, застыл с открытым ртом. Он догадался, что уже прожил отпущенный ему срок. Пусть и задом наперёд. От страха проглотив слюну, он понял также, что выпасть из настоящего — всё равно, что родиться заново, а это значит перешагнуть через смерть.

Его прошиб пот, дёрнув шейю, он поперхнулся. И в этот миг опять стал Фёдором Швыковым.

— Ой, только не благодарите, — стучал его по спине незнакомец пивной кружкой. — А то опять подавитесь...

«Стать собой в будущем — всё равно, что стать другим», — отложил ручку Савелий Выказов, который уже полночи бился над рассказом «Мотель летом». Тускло мерцала настольная лампа, и он чувствовал, что его герои, Фома Кыч и Фёдор Швыков, выстраивают цепочку, в которую рано или поздно должен встать и он сам.

Савелий был уже немолод, и его ум обгонял тело. Но не потому, что прибавил с юности, а потому что тело с годами начало отставать. Среди писательской братии Савелий слыл чудачком. Бывало, он писал рассказ, а потом вычеркивал всё лишнее, до тех пор, пока не оставалось одно-единственное слово. Он собирал эти слова, за каждым из которых стояло произведение. Когда их число переваливало за дюжину, выпускал сборник, понятный лишь ему.

— Пишут ради куска хлеба, сочиняют для себя, — объяснял он мужчине в зеркале в ответ на недоумённо вскинутые брови.

— Брось, — с кислой миной обрывал тот, — для тебя уже всё сочинили: молодые не дают, на сверстниц не встаёт.

Но это была ложь. Савелий ещё пользовался успехом, и женщины скрашивали его одиночество. «Задушить бы хоть одного негодяя, — засучив рукава, оголял он узловатые руки, заросшие до плеч рыжими волосами, — а то спросят: что сделал для людей — и крыть нечем!» Женщины, принимая игру, притворно ахали, а совсем юные смотрели на него с восхищением. Но Савелий, и вправду, представляя высший суд, надеялся выставить козырями не свои поступки, а фантазии.

«В них я был тем, кем не стал», — оправдывался бы он, зная, что его не простят.

А «Мотель летом» всё не давался. Под утро Савелий ещё раз перечитал свой черновик, надеясь понять, что же хочет сказать. Ему не понравилось название — он переставил в нём буквы в обратном порядке, захотел изменить концовку, но рассказ упрямо загонял его в угол.

«Встать над своим веком также невозможно, как и над собой, — сделал вывод Савелий. — В него попадаешь, как не в тот ботинок...»

И тут Фома Квыч проснулся. Связанным по рукам и ногам отцом семейства, с серебром на висках и перезрелым «бананом». Он зябко ворочался под одеялом, упираясь взглядом в привычные вещи, перебирал в памяти героев своего сна. «Не мечтать — значит и не жить», — шёпотом повторял он, трогая ладонью колючую щетину. Воскресенье уже прошло, но будни, с кляксами в учебных тетрадях и снисходительной улыбкой директора, ещё не навалились. Выключив будильник, Фома тёр глаза, словно выгонял соринку, и в пливших рассветных сумерках ему мерещились ловкие всадники, припавшие к гривам степных кобылиц.

ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА

Тлухо вскрикнула птица и, захлопав крыльями, тяжело опустилась на ветку. Распластав руки по коромыслу, мимо огороженных могил проплыла деревенская баба. «Надо же, толстуха, — поглядел ей вслед Егор Бородуля, — от неё, небось, и зеркало трещит».

И решил, что день не сложится.

— Дурная примета, — прочитал его мысли Корней Гостомysl, — вёдра-то пустые...

Они лежали под развесистой липой и считали падавшие сверху жёлтые листья.

— Хочешь спать — не прислушивайся к шорохам, — осадил его Егор. Но обращался он больше к себе: — Всю жизнь не загадаешь, как будет, так будет...

И вынув из кармана гребень с набившейся перхотью, стал вычёсывать упрямые колтуны.

Корней вздохнул:

— Мне иногда так кажется...

— Когда кажется, крестятся, — беззлобно вставил Егор.

Корней закашлялся, поднеся кулак, покосился на могильные кресты, о которые чистили клюв чёрные грачи.

— Да нет же, послушай, мне иногда кажется, что у каждого есть кто-то наверху, ангел или двойник... — сняв кепку, он погладил лысину. — Двойник этот живёт вместо нас — любит, творит, мыслит, по желанию едет то на юг,

то на север, ставя перед собой ясную цель. А мы, как тени, лишь безотчётно повторяем его движения, и оттого жизнь представляется нам чередой бессмысленных поступков...

— Ну ты, философ, может, заткнёшься, — сплюнул Егор и, дёрнув чуть сильнее густую шевелюру, вскрикнул от боли.

— И связь наша с этим «кто-то» односторонняя, — пропустил мимо ушей Корней. — Лишь иногда нам удаётся коснуться его — во сне или мечтах. Тогда мы видим истинную жизнь, которая не натывается на убогие, мелкие препятствия, а парит над ними, как птица, взирая на громоздящуюся внизу неразбериху...

— Во даёт! — не выдержал Егор. — Ну зачем мне знать про другую жизнь, если свою проведу здесь? Я и так жалею, что лишнее узнал, что в школе математике учили и заставляли на пианинах играть...

Про себя он подумал, что образование, как горб или рюкзак, тянет вниз, что жизнь, как клинок янычара, рубит тех, кто высовывается, а невежество заразно — стоит одному встать под его мерку, как остальные тут же равняются.

— Нет, наша подлинная сущность, настоящее «я» находится вне тела... — достав платок, Корней промокнул лысину, сняв очки, протёр запотевшие стёкла. За линзами его рыбы глаза казались крохотными, про такие говорят, что они видят всё, а их — никто. — Бывает, видишь себя со стороны — ходит, ест, спит какой-то механический автомат, ругается, злится, деньги считает... И так стыдно за него делается, до чего бездарно он дни проводит! Будто слепой, будто несмышлёный! А это не ты себя видишь, это кто-то на свою тень земную косится...

Повисшее молчание резало уши, как протекающий кран.

— Или вот как бывает, — отвечая своим мыслям, заметил вслух Корней. — Во сне вызывают тебя к доске, учитель задаёт трудную задачу. Ты пыхтишь, краснеешь, уж и пот на лбу выступил, и в мелу весь, да только напрасно. Чешешь затылок, а в голову ничего не лезет! И вдруг сосед по парте руку тянет, чтобы в два счёта задачу решить. И ты не понимаешь, как же ты сам раньше не догадался. Но ведь это твой сон, ты одновременно в нём и зритель, и режиссёр, тогда почему решение было тебе неизвестно? Если ты один выступаешь в трёх лицах — и за себя, и за товарища, и за учителя? Значит, внутри себя мы вовсе не одни и снами распоряжаемся лишь частично, как и жизнью...

Разговор не клеился. Слова подбирали тяжело, точно тащили из колодца полное ведро.

Корней подумал, что люди, как перепелиные яйца — их кропят разные пятна, а в гнезде не различить. Но сказал совсем другое:

— К прозрению, как к рекорду или смерти, идёшь всю жизнь...

— А мне сдаётся, — невпопад заметил Егор, ковыряя ногтем расчёску, — что мы давно умерли и теперь бродим по земле, как призраки...

Егор прожил с женой так долго, что после развода навсегда запомнил свою первую безбрачную ночь. «Заруби на носу, дорогой, — мурлыкала жена, жмурясь так, что её изогнутые ятаганом ресницы прятали кошачьи зрачки, — о чём бы ни говорили мужчина и женщина, речь всегда идёт о сексе». Жена была страстная, и Егор просыпался со следами зубов на щеке. А в то утро вместо укусов на щеке красовался отпечаток от пуговицы на наволочке.

Семейная жизнь, как безопасная бритва, — от постоянного пользования притупляется. Корней был женат, казалось, с рождения. У его жены был абсолютный

музыкальный слух, она всё время напевала популярные мелодии, попадая в ноты также легко, как ему в лицо, когда плевала. Корнею врезалась в память их поездка к морю, дешёвая гостиница, в которой они провели медовый месяц, и пропахший тиной пляж, на котором ему впервые захотелось прекратить её пение. Он так и не понял, почему не убил жену, прожив с ней столько лет. «Жизнь — это суд, на котором разбирается одно и то же дело: судьба против человека», — подумал Корней, слушая, как Егор шепчется с Богом, в которого не верит.

Было время, когда мысли сливаются с воспоминаниями, а желания сбываются, если загадать их, скрестив за спиной пальцы.

Тусклое солнце плющилося о горизонт, и на шестах уже горланили зорю петухи.

— С лица воду не пить, — безразлично заметил Корней.

— Встречаются такие, что им у зеркала ужинать — значит аппетит портить... — меланхолично откликнулся Егор. — От них даже отражение в зеркале морщится...

И опять замолчали.

— Наша жизнь, как драный тулуп, — вдруг произнёс Егор, — выверни её наизнанку — никто и не заметит... — Его язык удивлённо извлекал слова, будто впервые пробовал их на вкус. — И носить её можно задом наперёд, проживая от смерти к рождению...

Почувствовав, что сморозил глупость, он попробовал выкрутиться:

— В жизни-то всё перемешано — и горе, и радость, и слёзы, и смех...

— Оттого она такая серая? — взвизгнул Корней.

— Чёрная полоса в жизни соседствует с белой, — важно пробасил Егор. — А человеку разрешается её кроить. Можно, к примеру, на несчастнейшую полосу заплатку из счастья поставить...

— Значит, по-твоему, нельзя все страдания одним махом оттяпать?

— Нашёлся такой мудрец. Перед тем, как родиться, ему показали его будущую жизнь. Так он отрезал у неё самые чёрные куски, а потом мало показалось. Когда куцую жизнь посмотрел, взмолился — дайте ещё попробовать. Ему дали. Он снова откромсал те куски, что почернее. И опять недоволен. Можно ещё? А кончилось тем, что от жизни ничего не осталось, так он и не родился...

— Во брешет! — покрутил у виска Корней. — Что же это, по-твоему, человеку жизнь его показывают? Значит, он целую жизнь её смотрит? Тогда зачем же ему на свет появляться?

— Мы своё будущее наперёд знаем, — гнул своё Егор. — Может, и вельможами побывали... Только забываем, кем были на предварительном просмотре...

Стало слышно, как гусеница ест дырявый лист. Молчать было невыносимо, и снова шевелили губами, накалявая тишину на слова.

— На свете все близнецы, — вырвалось у Егора. — Кто напялит парик, тот похож на аристократа XVIII века.

Егор стянул парик, сверкая лысиной, растёр по одежде пудру.

— Можно? — протянул руку Корней.

Лето выдалось сухим, жарким, опалённые листья, точно бумажки с нарисованными скелетами, то и дело слетали с развесистой липы.

Егор промолчал, наблюдая, как оса точит в складках коры ядовитое жало.

— Не все люди одинаковые, — пробурчал Корней, — их отличает положение под солнцем. Даже поменявшись с отражением в зеркале, становишься другим... Хочешь, попробуем?

— От перемены мест слагаемых сумма не меняется, — кивая, усмехнулся Егор.

Теперь справа оказался Корней.

А слева — Егор.

— От перемены мест слагаемых сумма не меняется, — кивая, усмехнулся Корней.

— Не все люди одинаковые, — пробурчал Егор, — их отличает положение под солнцем. Даже поменявшись с отражением в зеркале, становишься другим... Хочешь, попробуем?

Корней промолчал, наблюдая, как оса точит в складках коры ядовитое жало.

Лето выдалось сухим, жарким, опалённые листья, точно бумажки с нарисованными скелетами, то и дело слетали с развесистой липы.

— Можно? — протянул руку Егор.

Корней стянул парик, сверкая лысиной, растёр по одежде пудру.

— На свете все близнецы, — вырвалось у него. — Кто натялит парик, тот похож на аристократа XVIII века.

Стало слышно, как гусеница ест дырявый лист. Молчать было невыносимо, и снова шевелили губами, накалывая тишину на слова.

— Мы своё будущее наперёд знаем, — гнул своё Корней. — Может, и вельможами побывали... Только забываем, кем были на предварительном просмотре...

— Во брешет! — покрутил у виска Егор. — Что же это, по-твоему, человеку жизнь его показывают? Значит, он целую жизнь её смотрит? Тогда зачем же ему на свет появляться?

— Нашёлся такой мудрец. Перед тем, как родиться, ему показали его будущую жизнь. Так он отрезал у неё самые чёрные куски, а потом мало показалось. Когда куцую жизнь посмотрел, взмолился — дайте ещё попробовать. Ему дали.

Он снова откромсал те куски, что почернее. И опять недоволен. Можно ещё? А кончилось тем, что от жизни ничего не осталось, так он и не родился...

— Значит, по-твоему, нельзя все страдания одним махом оттяпать?

— Чёрная полоса в жизни соседствует с белой, — важно пробасил Корней. — А человеку разрешается её кроить. Можно на несчастнейшую полосу заплатку из счастья поставить...

— Оттого она такая серая? — взвизгнул Егор.

— В жизни-то всё перемешано — и горе, и радость, и слёзы, и смех...

Почувствовав, что сморозил глупость, Корней попробовал выкрутиться:

— Наша жизнь, как драный тулуп, выверни её наизнанку — никто и не заметит... — Его язык удивлённо извлекал слова, будто впервые пробовал на вкус. — И носить её можно задом наперёд, проживая от смерти к рождению...

И опять замолчали.

— Встречаются такие, что им у зеркала ужинать — значит аппетит портить... — меланхолично заметил Корней. — От них даже отражение морщится...

— С лица воду не пить, — безразлично откликнулся Егор.

Тусклое солнце плющилося о горизонт, и на шестах уже горланили зорю петухи.

Было время, когда мысли сливаются с воспоминаниями, а желания сбываются, если загадать их, скрестив за спиной пальцы.

Егор был женат, казалось, с рождения. У его жены был абсолютный музыкальный слух, она всё время напевала популярные мелодии, попадая в ноты также легко, как ему в лицо, когда плевала. Егору врезалась в память их поездка к морю, дешёвая гостиница, в которой они провели

медовый месяц, и пропахший тиной пляж, на котором ему впервые захотелось прекратить её пение. Он так и не понял, почему не убил жену, прожив с ней столько лет. «Жизнь — это суд, на котором разбирается одно и то же дело: судьба против человека», — подумал Егор, слушая, как Корней шепчется с Богом, в которого не верит.

Семейная жизнь, как бритва, — от постоянного пользования становится безопасной. Корней прожил с женой так долго, что после развода навсегда запомнил свою первую безбрачную ночь. «Заруби на носу, дорогой, — мурлыкала жена, жмурясь так, что её изогнутые ятаганом ресницы прятали кошачьи зрачки, — о чём бы ни говорили мужчина и женщина, речь всегда идёт о сексе». Жена была страстная, и он просыпался со следами зубов на щеке. А в то утро вместо укусов на щеке красовался отпечаток от пуговицы на наволочке.

— А мне сдаётся, — невпопад заметил Корней, ковыряя ногтем расчёску, — что мы давно умерли и теперь бродим по земле, как призраки...

Егор подумал, что люди, как перепелиные яйца — их кропят разные пятна, а в гнезде не различить. Но сказал совсем другое:

— К прозрению, как к рекорду или смерти, идёшь всю жизнь...

Разговор не клеился. Слова подбирали тяжело, точно тащили из колодца полное ведро.

— Или вот как бывает, — отвечая своим мыслям, заметил вслух Егор, — во сне вызывают тебя к доске, учитель задаёт трудную задачу. Ты пыхтишь, краснеешь, уж и пот на лбу выступил, и в мелу весь, да только напрасно. Чешешь затылок, а в голову ничего не лезет! И вдруг сосед по парте руку тянет, чтобы в два счёта задачу решить. И ты не понимаешь, как же ты сам раньше не догадался. Но ведь это твой сон, ты одновременно в нём и зритель, и режиссёр,

тогда почему решение было тебе неизвестно? Если ты один выступаешь в трёх лицах — и за себя, и за товарища, и за учителя? Значит, внутри себя мы вовсе не одни и снами распоряжаемся лишь частично, как и жизнью...

Повисшее молчание резало уши, как протекающий кран.

— Бывает, видишь себя со стороны — ходит, ест, спит какой-то механический автомат, ругается, злится, деньги считает... И так стыдно за него делается, до чего бездарно он дни проводит! Будто слепой, будто несмышлёный! А это не ты себя видишь, это кто-то на свою тень земную косится... — достав платок, Егор промокнул лысину, сняв очки, протёр запотевшие стёкла. За линзами его рыбки глаза казались крохотными, про такие говорят, что они видят всё, а их — никто. — Нет, наша подлинная сущность, настоящее «я» находится вне тела...

Про себя Корней подумал, что образование, как горб или рюкзак, тянет вниз, что жизнь, как клинок янычара, рубит тех, кто высовывается, а невежество заразно — стоит одному встать под его мерку, как остальные тут же равняются.

— Во даёт! — не выдержал он. — Ну зачем мне знать про другую жизнь, если свою проведу здесь? Я и так жалею, что лишнее узнал, что в школе математике учили и заставляли на пианинах играть...

— И связь наша с этим «кто-то» односторонняя, — пропустил мимо ушей Егор. — Лишь иногда нам удаётся коснуться его — во сне или мечтах. Тогда мы видим истинную жизнь, которая не натывается на убогие, мелкие препятствия, а парит над ними, как птица, взирая на громоздящуюся внизу неразбериху...

— Ну ты, философ, может, заткнёшься, — сплюнул Корней и, дёрнув чуть сильнее густую шевелюру, вскрикнул от боли.

— Да нет же, послушай, мне иногда кажется, что у каждого есть кто-то наверху, ангел или двойник... — сняв кепку, Егор погладил лысину. — Двойник этот живёт вместо нас — любит, творит, мыслит, по желанию едет то на юг, то на север, ставя перед собой ясную цель. А мы, как тени, лишь безотчётно повторяем его движения, и оттого жизнь представляется нам чередой бессмысленных поступков...

Егор закашлялся, поднеся кулак, покосился на могильные кресты, о которые чистили клюв чёрные грачи.

— Когда кажется, крестятся, — беззлобно вставил Корней.

Егор вздохнул:

— Мне иногда так кажется...

И вынув из кармана гребень с набившейся перхотью, стал вычёсывать упрямые колтуны.

— Хочешь спать — не прислушивайся к шорохам, — осадил его Корней. Но обращался он больше к себе: — Всю жизнь не загадаешь, как будет, так будет...

Они лежали под развесистой липой и считали падавшие сверху жёлтые листья.

— Дурная примета, — поглядел на дорогу Егор Бородуля, — ведра-то пустые...

И решил, что день не сложится.

— Надо же, толстуха, — согласился Корней Гостомysl, — от неё, небось, и зеркало трещит.

Распластав руки по коромыслу, мимо огороженных могил проплыла деревенская баба. Остановившись, она высвободила пятерню и перекрестилась на сугробики жухлой листвы, разделявшие могильные плиты:

«Егор Бородуля» от «Корней Гостомysl».

Глухо вскрикнула птица и, захлопав крыльями, тяжело снялась с ветки.

СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС ДЛЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО

«**П**онедельник, вторник, четверг — три “мужских” дня, а среда, суббота и пятница — три “женских”, — бубнил кривой мужик, катая по тарелке голубиное яйцо, — “мужские” дни счастливые по нечётным числам, а “женские” — по чётным...» Этого чернявого оракула привезли к государю из-за тридевяти земель, на телеге, которая тащилась позади славы, — у себя в провинции он нагадал недород и болезнь губернатора. «Мужчина проживает в одиночку, а женщина делит жизнь с приплодом...» — пояснил оракул, увидев вздёрнутую бровь. Из сада пахло яблонями, и душная истома стояла на балконе, как гвардеец. В этот час умирают споры, а в темноте карманов рождается истина, за которой лень сунуть руку.

«Скорее бы вечер...» — подумал Николай, отстукивая на подлокотнике военный марш.

Была годовщина коронации, в Царском Селе чертили на воде «Боже, царя храни» и, готовясь к фейерверку, заряжали пушки. Песочные часы на подоконнике цедили время, которое должен был скрасить прорицатель, но государь уже клевал носом. Его шея вылезала из воротничка, а подбородок касался груди. Во сне он видел свой экипаж посреди толпы, как это было недавно в голодающей губернии, когда матери протягивали ему пелёнки, на которых прорех было больше, чем заплат. Швыряя

медяки, он то и дело поворачивался так, чтобы не слышать плача, но половина его лица всё время оставалась в тени. А другая горела, будто от пощёчины. «Сами не знают, чего хотят...» — подумал он, разворачивая письмо, прилетевшее к нему «аэропланом». Целую вечность его палец скользил по бумаге, но ему показалось, что он забыл грамоту, что буквы принадлежат какому-то неизвестному алфавиту, он едва разобрал одно слово, и это был день недели...

«А воскресенье среднего рода, — гнул своё чернявый мужик, — потому что оно Богово...»

Сны клюют глаза, как птицы, и шлют чёрные метки. Теперь царский кучер правил к дворцовой площади, на которой мёртвые стояли среди живых, как недавно на Ходынском поле, вокруг колыхались хоругви, стискивая коляску, словно уносящие душу демоны. «Николай, Николай, — пугая галок, звонили колокола, — отчего ты нам больше не заступник?»

И государь, опустив глаза, вчитывался в строки, которые налились кровью.

А кривой считал грехи, как ворон на заборе. «На свете три преступления, — загибал он пальцы, — ты рождаешься, зачинаешь подобного и умираешь... И все они совершаются на постели...» Он закатил единственный глаз и, уставившись пустой глазницей, стал страшен.

«Грех, как слюна во рту, — завопил он, — святость — сушит!»

Николай вздрогнул. Он вдруг увидел мир его мёртвыми глазами, в которых чернело будущее. И от этого ему захотелось выть. Он прислонил палец к губам, но пророк, соскочив со стула, как со сковородки, понёс ему на колени свою тень.

«Выйдет из-за окяна жёлтый ампирактор: на голове у него стог, а подмышкой косые скулы, — причитал он, дую на обожжённые пальцы. — И наткнётся он в поле

на чучело, и завизжит на своём жёлтом языке, протыкая ему грудь железным пальцем! И тогда почернеет на соломе кровь, как кофейная гуща...» Теперь и Николай увидел расплывающееся пятно. А в нём бурю. Подкравшись из-за низких холмов, она приближалась стремительно, как это бывает в степи или на море. Он уже слышал раскаты грома. «Обмануть легче лёгкого, — гремело в них, — я подобрал слова, и ты увидел за ними картину, которую я не вижу!» У мужика прорезался кривой глаз, которым он заморгал чаще, чем другим. Теперь он заикался, называл Николая отцом, но видел в нём сына.

«Любовь писана вилами по воде, а ненависть — в сердце, — шипел он. — Ненависть не победить любовью — черви не бьют пик... — Он посмотрел снизу вверх, как будто сверху вниз. — Но и пики не бьют червей. Ненависть и любовь, как собака и кошка, которых кормит один хозяин...»

Тарелка заходила ходуном, и яйцо, перескочив через край, разбилось. Чернявый затрясся над ним, как юродивый над копеечкой.

«Ты говорил: “Пусть слёзы подданных падут на моих детей?” — Николай отшатнулся, ему вдруг показалось, что песочные часы истекают кровью. — А хоть бы и нет, — подавился смехом чернявый, — слезинка младенца всегда разыщет невинного...»

От испуга Николай снова стал мальчиком — шевелил руками, забытыми в карманах, и, захлопывая книги, давил мух, которые до следующего урока успевали засохнуть между страницами, как цветок гимназистки. Он носил своё имя, как парик, и вся его земля умещалась под ногтями. Мальчик заливался колокольчиком, и тогда подавали обедать, он сердился, и тогда крутил мизинцем у виска, дразня гувернёра счетоводом. «Все считают, — обижался тот, — одни — звёзды на небе, другие — куски во рту...»

Однако человек, как цыган, бродит по линиям своей ладони, а его переводят, как стрелку будильника. С годами Николай нахлобучил имя, как шапку, и под ней оказались земли, над которыми не заходит солнце. Теперь у него была жена, с которой они ощупывали друг друга, как слепцы, и такая же страна. «Наденет фрак — всё равно дурак!» — разносили на хвостах сороки про его министров, из которых одни считали облака, другие — деньги, но никто — мертвецов. А железные камни уже пускали круги по земле, и солдаты в островерхих касках, нарезавшие у костров сало штыками, бежали в атаку с нерусскими междометьями — вытирать сталь об императорские шинели...

«Важно не когда жить, а с кем, — вещал чернявый, — потому что человек всегда лишний...»

«Воистину, лишний...» — повторил, как оглашенный, Николай.

В Царском Селе он по-прежнему сидел на балконе, а в иной реальности наматывал на сапоги вёрсты во всех четырёх направлениях. Он поглощал пространство вместе со снами, мыслями, книгами, и оно, в отличие от внешнего, которое липло к подошвам, размещалось внутри, в копилке, которая только пополняется, а очищается раз. В этом пространстве Николай уже оседлал возраст, когда вместо прелестей у женщин замечают изъяны, а мочатся через сморщенный огурец. «Классическое образование оставляет в прошлых веках», — брюзжал он, глядя, как его дети зубрят античность. Он старался держать свои мысли, как слюну во рту, но они выходили наружу плевками.

Теперь годов у него было больше, чем зубов, — немногим меньше, чем волос.

«Макушка для головы, что пупок для тела, — говорил ему цирюльник, зачесывая пряди на затылок, — лоб обнажает ум, а плешь распускает мысли...» Государь с кислой

миной следил, как выстригают ему седину, и не переменялся, когда рядом с бокалом на поднос положили отречение. Нетерпеливые руки тронули его за плечо. Он через зеркало покосился на бумагу, где краснели чернила, а подписи жгли, как поцелуй Иуды.

«Слова, как виды вдоль дороги, сейчас — один, через версту — другой...» — запил он царствование, история которого уместилась в глотке вина.

Была ранняя весна, от холода руки мёрзли больше, чем ноги, а грачи уже расселись, как на картине Саврасова. На телеге, впереди славы, Николая везли на восток, куда веками ссылали бунтарей, и у него опять было много времени, а земли с ноготь. «Сначала ищут твоей любви, потом — смерти», — думал он, соглашаясь сквозь сон с чернявым. Теперь по нему звонили так, что дрожали колокольни, но за него больше не молились, и небо не знало о его судьбе.

А это значило, что для него настал судный день.

Он ехал сквозь строй ангелов — это дети на обочине кусали с голоду воздух. «Как живут ваши матери?» — бросил он из повозки. «Хорошо... — донёс ветер. — Они умерли». И опять у государя вспыхнула пощёчина. «Хорошо там, где нас нет...» — закашлял над ухом чернявый. «И не будет...» — эхом подхватил он. А потом картины замелькали, как в синематографе. Он увидел кривые берёзы, под которыми вместо грибов росли могилы, брошенные деревни, черневшие печными трубами, иссякшие колодцы и купеческий дом с решётчатыми ставнями, в котором ночи выворачивали наизнанку дни. Там его с женой и пока не родившимися у него детьми ведут в подвал, Николай во сне понимает зачем, а тот, что видит сон — нет, и напряжённо вчитывается в чужие морщины, как в строки, которые наливались кровью. Будущее всегда смутно, прошлое — чуть брезжит. Он едва разбирает календарь, в нём жирным

крестом перечёркнуто воскресенье. Под этим днём нет числа потому, что Бог проиграл его дьяволу в чёт-нечет. Ещё не наступив, оно уже прошло, это воскресенье, когда он умер, продолжая жить. «Чтобы убить другого, надо прежде убить себя», — понимает Николай, различая перевёрнутую январём шестёрку, за которой скалится зверь. И его опять охватывает ужас, как давным-давно в Царском Селе, когда, ожидая фейерверка, он уснул под глухие пророчества и видел, как в фонтанах на покрасневшей воде вместо «Боже, царя храни» проступило «Мене, мене, текел, упарсин». Ему даже показалось, что он успел прочитать свою роль прежде, чем грянул залп...

Грянул залп, Николай очнулся, переступив через смерть. Он был один. Внизу стреляли пушки, и струи брызгали по небу, как пена эпилептика. Начинались гуляния, пора было выходить, но сон ещё долго держал его в тревожном оцепенении.

А когда Юровский, сосчитав двадцать три ступени, будет скороговоркой читать приговор, он снова увидит его на дне расстёгнутой кобуры. И тогда он поймёт, что время во снах течёт в обратном направлении, подступая с той стороны, откуда сочится судьба, из неизвестности, за гранью которой ему предстоит оказаться через мгновение.

НА МОСТУ

Не верь ему! Все, что он говорит, — ложь!
Акутагава Рюноске. В чаше

РАССКАЗ ВРАЧА

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! Господи, облегчи и помоги!
Мое имя Абу-ль-Фарадж ибн Хусейн, и я лечу правоверных в Аль-Кархе. Вот что произошло однажды, когда день уже клонился к закату и я, спеша на пятничный намаз, закончил принимать больных. В дверь робко постучали. Вошедший назвался Абу-ль-Касимом аль-Джухани, простёрся ниц и, заклиная Аллахом, попросил его выслушать. Вот что он сказал:

«Я работаю машинистом на поезде, который раз в неделю ходит в Исфахан, и я опасаясь за свой разум. На полпути от Багдада в Исфахан лежит мост через горное ущелье, по дну которого течёт бурная река. Это проклятое место! Каждый раз, когда мой паровоз подходит к мосту, на нём вдруг появляется дервиш. Его седая борода треплется ветром, а клюка стучит о рельсы. Я торможу, указывая помощнику на бредущего по шпалам старца. Но — о, ужас! — мой помощник его не видит и лишь смеётся. Напрасно я пытался схватить странного дервиша: он исчезал также внезапно, как и появлялся. Вы человек уважаемый, посоветуйте вашему вечному должнику, — я боюсь, что помрачился разумом».

Выслушав удивительный рассказ, я стал задавать машинисту вопросы. Я просил подробнее описать таинственного старика — он вспомнил несколько деталей. Так не мог отвечать человек с помутившимся рассудком. Убедившись, что он здоров, я рекомендовал забыть происшедшее.

— А что же мне делать, если он снова появится? — спросил машинист.

— Больше не появится, — как можно спокойнее ответил я.

Он настаивал.

— Ну что же, тогда наезжайте на него, — не выдержал я.

Довольный посетитель заплатил мне тридцать золотых динаров и удалился.

Дорогой в мечеть я размышлял о миражах...

А теперь стражники кади пришли ко мне, говоря, что тот человек — убийца, что он задавил на своём паровозе дервиша. По их словам, когда поезд подъезжал к мосту, на него вышел нищий паломник. Увидав его, помощник закричал: «Тормози!», но машинист усмехнулся: «Ну уж нет, он ненастоящий!» — и прибавил пару.

Теперь он вопит в тюрьме, чтобы почтенный лекарь Абу-ль-Фарадж ибн Хусейн объяснил его жестокий поступок, что он не хотел никого убивать, а лишь следовал моим указаниям. Какое чудовищное совпадение! Я подтверждаю правдивость слов Абу-ль-Касима аль-Джухани и надеюсь, что мудрый и столь сведущий в фикхе кади нашего города — да продлит Аллах его годы! — правильно разберёт это невероятное происшествие. Я думаю, он присудит невиновность, ибо залогом ей — простодушие этого человека.

Да сбудется на то воля Аллаха!

РАССКАЗ МАШИНИСТА

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! Да будет Он милостив к Мухаммаду, пророку Его и к его священному роду!

Моё имя Абу-ль-Касим аль-Джухани, и я хочу признаться в злодеянии, которое совершил, когда работал машинистом на линии Багдад-Исфахан. Вот что толкнуло меня на это.

Очень давно, ещё в пору моей юности, один человек из нашей деревни — его звали Талха ибн Убайдаллах — хитростью лишил меня скудного наследства, которое оставили мои родители. А было так. Придя ко мне в дом, он расположил меня сладкими речами, и мы предались винопитию. О, как жестоко я поплатился за нарушение шариата! Когда выпитое стало смыкать мне очи, коварный Талха предложил сыграть в кости. И я не успел бы прочитать Открывающую суру, как это отродье Иблиса — так ловко он умел метать камни! — уже выиграл у меня все деньги, всех баранов и коз, но главное — я проиграл молодую жену, красавицу Айшу. И потом остаток отпущенной жизни я был вынужден служить по найму, проклиная своего врага и тоскуя по утраченному.

Но вот однажды, много лет спустя, проезжая на поезде между городами моей линии, я вдруг увидел на мосту сгорбленную фигуру. Это был Талха ибн Убайдаллах — я узнал бы тебя из тысячи, лукавый пёс! — и подумал, что он живёт по соседству. И не ошибся. На обратном пути я увидел его выходящим из будки путевого обходчика. Тогда я и решил отомстить за Айшу — я решил убить постаревшего Талху. Но торопиться было некуда — разве Аллах допустит раннюю смерть предателя? Разве позволит ему избежать кары? — нужно было тщательно подготовить

убийство, чтобы выйти сухим из воды. Прошёл год — целый год! — в течение которого я много раз тормозил паровоз перед мостом, указывая помощнику — а надо сказать, что мальчишка подслеповат — или на уже сходявшего к насыпи Талху, или на пустое место, пока тот не привык к моему наваждению. Потом, беспокоясь, якобы, за рас-судок, я (кстати, по совету помощника) обратился к врачу, известному Абу-ль-Фараджу ибн Хусейну. Но я ждал по-мощи не врача, а свидетеля. Так и случилось. Этот добрый и уважаемый человек, между нами, немного бесхитростный, сразу поверил в галлюцинацию, и его замолвленное на суде слово оказалось решающим.

Как ловко я всё подстроил! Как ликовал, с потупленным взором слушая приговор, эту песнь гурий: убийство сочли случайным, приписав воле небес! Хотя, как знать, может это в чём-то и так.

Велик Аллах! Свою месть я смог осуществить уже на другой день после посещения Абу-ль-Фараджа ибн Хусейна. И вот теперь мой разоритель, похититель моей жены наказан, теперь я должен возрадоваться.

Но отчего же неизбывная печаль тяготит мне сердце?

РАССКАЗ ДЕРВИША

Во имя Аллаха единого и справедливого! Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк Его!
Меня зовут Талха ибн Убайдаллах, и я пишу эти строки за день до смерти, ибо завтра колёса поезда переедут моё тело. Наконец-то! Уже много лет страшная болезнь ниспослана на меня, заставляя терпеть страдания. Мои муки невыносимы, и я подумывал уйти из жизни.

Я уже совершил хадж, и теперь ничто не связывает меня с миром. Я думал об этом всерьёз — да простит мне Аллах! — но вовремя вспоминал, что это грех, что уйти самовольно — значит прогневить Аллаха. Вот тогда я и стал разыскивать Абу-ль-Касима аль Джухани, бывшего односельчанина, затаившего на меня кровную обиду. Он жаждал моей смерти, ведь ему казалось, что я обманом выиграл у него и дом, и жену, хотя это не так. В тот день мне больше везло, и мне не в чем раскаиваться. Айша была когда-то моей невестой и во время горького замужества втайне продолжала меня любить. Она сама подсказала мне мысль сразиться с мужем в кости. К Абу-ль-Касиму аль Джухани я был расположен настолько, что с удовольствием простил бы ему долг, если бы это не навлекло подозрения, что главной ставкой с самого начала была Айша, что деньги я выиграл для отвода глаз.

О, Айша! Мой бедный цветок, почему ты увял так рано? Почему судьба так несправедлива?

Вскоре после смерти несчастной Айши, опечаленный, я продал дом, раздал имущество и стал дервишем. Посреди скитаний, в довершение всех бед, меня и настиг ужасный недуг, от которого нет спасенья. Как избавиться от бремени? Как расстаться с телом, сохранив душу? И тут я узнал, что человек, который меня ненавидит, служит на железной дороге. Я поселился возле моста, лежащего на его пути, и стал думать, как бы заставить его убить меня. Я знал, что он трусоват и ни за что не решится тронуть меня, не имея твёрдых надежд на оправдание. Я попытался внушить ему, как ими заручиться. Разузнав прежде, что его помощник плохо видит, я стал являться привидением, попадая на глаза Абу-ль-Касима аль-Джухани. Этим я дразнил его, разжигая ярость, провоцировал на убийство. Однако лишь год спустя тупица стал следовать моему плану. А вчера он был у врача. Значит, завтра мои муки окончатся! И если

за мною числится хоть капля вины, то завтра моя кровь, омыв рельсы, испулит её.

Весь год я уподоблялся призраку — завтра я стану им.
Да сбудется на то воля Аллаха!

РАССКАЗ ДЬЯВОЛА

Во имя врага Аллаха, немилостивого, немилосердного! Да пребудет во веки проклятый за непокорность род его!

Одни зовут меня Иблисом, другие — шайтаном, остальные — сыном тьмы. С текущим от Сотворения временем мои имена меняются, но деяния — вечны. Я хочу поведать историю о том, как соблазнил трёх послушных рабов Аллаха, трёх подданных моего Врага.

Они жили вместе в горном селении: Абу-ль-Касим аль-Джухани, его жена Айша и друг мужа — Талха ибн Убайдаллах, и были счастливы скучной добродетелью. Тогда я вселил в сердце Талхи запретную любовь, он стал втайне томиться по Айше и ждать своего часа. И вот однажды в деревне оказалась проездом певичка, и муж Айши пошёл в чайхану смотреть её представление. Певичка была красива, и многие добивались её расположения, поэтому Айша легко поверила, когда я под видом сплетницы-старухи нашептал ей об измене супруга. Как ревновала женщина! Как кляла она порочного мужа! Этим-то и воспользовался Талха. Утешая её, он говорил, что изменник недостоин любви, а под конец открыл свою страсть. И Айша назло мужу уступила его домоганиям. Я же устроил так, что Абу-ль-Касим аль-Джухани сразу узнал об этом. Страшный гнев охватил его, но он до поры

решил его скрыть. Он стал думать, как мезтью неверной жене смыть позор.

И придумал.

Как-то, притворившись пьяным, он нарочно проиграл её в кости любовнику, правильно рассчитав, что после такого унижения все, и любовник, будут её презирать. Движимый ненавистью, Абу-ль-Касим аль-Джухани не остановился даже перед проигрышем (для отвода глаз) всего имущества. Сколь ослепительна ярость! Но он добился своего — пламя оскорбления сжигало теперь Айшу и вскоре свело в могилу.

Позже я наслал на Талху болезнь, чтобы заставить его желать смерти, а значит, отвернуться от нашего всесильного Врага. Я же раскрыл ему глаза на историю с Айшой, подчеркнув злорадство мужа, чтобы с удовольствием наблюдать, как он превращается в странствующего дервиша — так ему легче было разыскать подлого Абу-ль-Касима аль-Джухани.

Разыскать, чтобы отомстить.

Тут мои козни прекращаются: события сами развиваются мне на потеху — так в горах достаточно толкнуть камень, чтобы вызвать лавину.

Обнаружив, что его бывший друг водит через мост паровоз, Талха стал являться ему, искушая — и в этом он уподобился мне! — совершить убийство. Зная, как тот жаждет расправы, которую сдерживал лишь страх наказания, он старательно подсказывал осторожному машинисту, как можно оправдать преступление. С каким наслаждением измученный болезнью Талха представлял, как его пугливый убийца наконец клюнет и отправится к врачу, будущее молчание которого на суде он *заранее* купил за пятнадцать золотых динаров. В ночь перед смертью мстительный Талха ибн Убайдаллах радовался, ведь он пересчитал свою жертву, как опытный шахматист, не сомневаясь,

что врага постигнет суровая кара. И его коварный замысел наверняка бы удался, если бы не грязная душа лекаря Абу-ль-Фараджа ибн Хусейна, которая алчно прельстилась тридцатью динарами Абу-ль-Касима аль-Джухани, оставленными за визит. Так щедрость спасла последнего от острого топора палача.

Но ей не спасти его от ада!

РАССКАЗ БОГА

Мы — Аллах! Мы одни знаем природу вещей и подлинную суть человеков, ибо мир — у Нас на ладони. И вот Мы говорим: не слушайте тех, кто облёк истину ложью, ибо всё предначертано, но как — знаем лишь Мы!

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

— **В** морг! — распорядился доктор, пряча в халат слуховую трубку. Санитар, позёвывая, убрал с одеяла табличку «Филимон Кончей».

— Так ведь дышит, — потёр он от холода руки.

— Пока довезёте...

Больница при странноприимном доме помещалась в бревенчатой избе, к окнам которой липло серое, хмурое утро. До покойницей было рукой подать, и Филимон всего полсотни шагов видел над собой круглое лицо санитара с вислыми, качавшимися усами. Однако жизнь, как сонмище ангелов, умещается на кончике иглы. Пока его, завёрнутого в простыню, катили по лужам грязного, запущенного двора, он снова проживал свои детские годы. В пыльном захолустье жевал травинку, болтая ногами на бревне, считал две проезжавшие за день телеги, а потом в десятый раз перечитывал недлинные полки провинциальной библиотеки. Зимой он оставался в читальне, где жгли казённую лучину, подперев щёку ладонью, мечтал о странах, в которых никто не был, и долго смотрел в темноту сквозь засиженное мухами стекло. На беду ему попадались не только русские книги. От евреев он узнал про тайное имя Бога, которое открылось на горе Моисею, от пессимистичного немца — про слепую волю, которая движет миром.

«Бог глух — до Него не достучаться, — ковырял ухо Филимон. — Он всемогущ, но бессознателен».

И боялся собственных мыслей, как мелких тресков, которые издаёт комната по ночам.

Осиротел Филимон рано. «Ты чей, Кончей? — дразнили его дети, вынимая из-за спины камни. — Хочешь кирпичей?» Он смотрел сквозь них ясными, голубыми глазами, прячась в ракушку своих мыслей. Кормил его отчим — угрюмый, молчаливый мужик, едва умевший поставить крестик против имени. «Чай, и родителей не помнит...» — жалели за спиной пасынка. Тогда он опускал плечи и думал о том, что нельзя познать вещь, не видя её рождения, а потому все отцы — чужие. В своей судьбе он усматривал судьбу Вселенной, беспризорной, брошенной на произвол непознанным отцом. Тогда же ему закралась мысль, что Бога нельзя постичь, даже слившись с Ним, как эмбриону не постичь матери, для этого нужно родиться с Ним. Глядя на деревенские будни из крови, пота и слёз, Филимон убеждался: Бог не ведает, что творит. «Он не добрый и не злой, не мстительный и не прощающий, — рассуждал Кончей, — Он алчный и щедрый, жестокий и милосердный, Он всё и ничто». («Он никакое “что”, — вычитал Филимон у древнего ирландца. — Бог не знает о самом себе, что Он есть, так как Он не есть “нечто”»).

Просыпаясь среди бесконечной грызни за кусок хлеба, Филимон отчётливо сознавал, что её не мог выдумать Бог, он всюду находил подтверждение тому, что Бог ещё не проявился, что мир вокруг — только ступенька к Его пришествию.

«Бог существует лишь в потенции, — вывел он на полях “Божественной истории”, залезая буквами на иллюстрации, изображавшие оливковые рощи и седобородых старцев, важно попирающих облака, — а потому подлинная история — это то, что не происходит...»

Церковно-приходская школа насчитывала пять классов, но её редко кто заканчивал. Голодные взрослеют рано, а взрослым не до баловства.

— Бог ущербен, раз Его мир полон изъянов, — раздалось однажды на Законе Божьем. Урок вёл сутулый дьячок с постным, как просфора, лицом. Дьячок проглотил язык. Семинарию он заканчивал при царе горохе и с тех пор мирно дремал под благостный звон деревенского колокола. — Однако Господь ждёт, что Ему откроют глаза! — продолжал Кончей с задней парты. — Надо принести Ему благую весть! Спасти мир — значит спасти Бога, спасти Бога — значит стать Им...

Дьячок развёл руками, но быстро овладел собой. Хитро сощурившись, он привлёк в судьи класс.

— Ну, брат, развёл ты сортирологию, — тряс он бородкой, утопив в хохоте эти сотериологические прозрения.

А дома Филимону задрали штаны.

— Ишь, чего втемяшилось, — краснея от натуги, порол его отчим, сглатывая слюну, — я из тебя дурь-то повыбью...

Внимательнее оказался учитель арифметики.

— Получается, Бог у тебя вроде заколдованной принцессы, — выслушав Филимонову метафизику, заключил он. — Каждого после смерти нетерпеливо спрашивает: «Ну что, принёс разгадку?» А Ему в ответ земные сплетни да всё про науку... — Учитель мотал головой и, вздыхая у доски, механически вытирал рукавом мел. — Как же Ему должна быть мучительна вся наша бесполезная возня! — И обернувшись, ласково теребил ухо: — Ай да Филимон, далеко пойдёшь...

И Кончей, действительно, пошёл далеко. В Сибирь. Как и все, он по команде справлял нужду, скорчившись на холме, и не мог понять, как оказался на каторге, — рассуждая о тайнах мира, не подозревал о доносе добродушного

дьячка. «Язык до Киева доведёт, — приговаривал он, считая этапные вёрсты, — а длинный язык — до Сибири». Однако он и тут не прекратил свои странные речи. «Ну что, Кощей, — скалились на стоянках арестанты, — когда всем кончина?» И Филимон принимал их издевательства за чистую монету и опять начинал с жаром доказывать, что тёмному, безликому Первоначалу, правящему миром, надо стать Богом, чтобы не допустить больше такого нелепого бытия, как в нашей испорченной Вселенной. Первоначало — это несчастный слепец, учил Филимон, калечный гигант, от которого, как птенец, вылуцился этот убогий мир. Его здание постоянно перестраивают, как после пожара, но по одному и тому же плану. Его внутренняя сущность неизменна: от Пилата до аэроплана добро, как соль в море, растворено во зле. Вездесущное и суетное, зло — это плата за бытие, чтобы победить зло, надо уничтожить Первоначало, очистить лик Творцу. С этой единственной целью создан мир: когда из его хаоса выйдет Бог — мир исчезнет.

— Первый, кто доберётся до не проявленной сущности, — пророчествовал Филимон, раскинув, как пугало, руки с лохмотьями на костях, — первый, кто прольёт свет, проявив фотографию, тот станет Богом-Отцом... — Выдержав паузу, он задирает вверх палец: — Творение создаст Творца!

Кандальники уже спали. Только кто-нибудь спросонья ворочал языком:

— Эх, Кончей, плеснул бы лучше щей...

Вечность — миг. Когда окончились годы заключения, подоспела война. Ещё вчера тюремный священник причмокивал про любовь к ближнему, а сегодня, ломая, как игрушки, заповеди, из каждого угла шипели: «Убей!» Злая воля стреляла, калечила, скармливала окопным вшам. Филимон был крепким, жилистым, его забрили в солдаты, но, как

неблагонадёжного, определили денщиком к молоденькому прапорщику. Вечерами, растапливая на биваке самовар, Филимон и с ним делился своими откровениями.

— «Возлюби Господа всем сердцем твоим»... — пыхтел он, нагоняя жар сапогом. — А что это значит? Зачем Ему любовь? Не любви жаждет Бог, а помощи — сострадай Ему, как самому себе...

— Полагаешь, любовь без дел мертва? — рассеянно переспрашивал прапорщик, играя шашкой. — Уж больно мудро...

Он требовал доказательств — Кончей призывал верить.

— Чем тебе, лучше батюшкам, — раздражённо морщился офицер. — Разницы нет...

А через месяц его убили.

— Лучше от пули-дуры, чем от большого ума, — напутствовал его денщик, опуская в походную могилу с наспех сколоченным крестом.

С тех пор Филимон замкнулся, поняв, что истина, как жизнь — её можно потерять, а передать невозможно. Он, как крот, рыл в одиночку свой подкоп под Вселенную, свою дорогу к не проявленному Богу. Из армии он дезертировал, христарадничал по деревням, и его башмаки топтали мир наперекор обстоятельствам. На просёлочных дорогах его философия сложилась окончательно. Согласно ей больной Бог ждёт мессию, сына человеческого, второе пришествие будет не на землю, а на небо. Филимон призывал, словно в сырую, мрачную пещеру, бросить факел в великую бездну, непрерывно порождающую мир, который дрожит на ней складками одежды. Тогда она сомкнёт пасть, и мир исчезнет. И спасётся. Заскорузлой ладонью с натёртыми посохом мозолями Филимон отводил лживые категории времени и пространства. «Каждый из нас посланец, да только не с тем письмом», — бубнил он под нос, разгоняя стаи

галок. Колеся русское бездорожье, Филимон втайне надеялся стать спасителем человечества, живых и мёртвых, тех, кто воскреснут в новом творении прозревшего Бога.

На его безумства смотрели сквозь пальцы. Разве встречные богомольцы били палками и однажды от усердия чуть не отрезали язык. Он воспринимал это как должное: несовершенство мира нельзя ни исправить, ни искупить — его пространство плодит отчаянье, его время умножает скорбь.

У Кончая не нашлось ни учеников, ни апостолов. И в этом он усматривал скрытое подтверждение своей избранности.

«Бог един, но вы разделили Его», — выставляя кривой ноготь, кричал он с порога церквей и мечетей, натываясь на колючие взгляды. И носил за пазухой свою истину. В своих скитаниях он находил сходство с метаниями человечества, он верил в бессмертие души, но, подобно индусам, не находил в этом ни радости, ни утешения. За бесконечной круговертью из небытия в бытие для него стояла эманация греха, чудовищная, мрачная ярмарка пороков.

Иногда в церковных ночлежках ему встречались чудакватые пророки, такие же почерневшие от странствий, как и он, они делили хлеб-соль, а потом спорили до хрипоты и дрались посохами.

— Бог спит и видит нас во сне, — ядовито шептал один, выставляя увечья, — мы — кошмар Бога, Его надо разбудить, тогда он стряхнёт этот мир...

— Вот-вот, — кивал Филимон, — Бог ждёт сына человеческого, ждёт от людей святое писание...

При этом он подозревал, что в священной Книге не будет глав и абзацев, — спящего будит крик.

— Достаточно произнести слово — и Вселенная рассыплется в прах, — пугал он с блаженной улыбкой. —

Евангелист ошибся — слово было не в начале, оно будет в конце...

Его кощунства пропускали мимо ушей. А тут ехидничали: «Что же ты не произнесёшь его, коли такой грамотный?» Тогда Филимон умолкал. Он не знал слова. Но был уверен: раз Вселенная повторяет себя в каждой своей части, как змея в каждом кольце, ключ к ней — в каждой душе. И она рухнет, если хотя бы один подойдёт к её глухой двери. Иногда, проснувшись в сарае, куда крестьяне из милости пускали бездомных, он смыкал веки и наугад перебирал слова, вычурно переставляя буквы, надеялся, что после счастливого сочетания мир исчезнет, но, когда открывал глаза, тот стоял необъятный и грозный.

И Филимон в изнеможении валился на солому.

Бродяги долго не живут. На висках едва показалась седина, когда Филимон очутился в больнице при странно-приимном доме. Здесь ели чечевицу, выставляли наружу язвы и целыми днями прикидывали, кто кого переживёт. Ухаживал за всеми санитар. «Всяка тварь стонет», — вставлял он к месту, и не к месту, вынося горшки и переворачивая паралитиков. Хорошо, когда умирали днём, а если ночью — труп коченел до рассвета.

Филимон уже отхаркивал кровью и едва шевелил губами, однако всё не отказывался от своей странной философии.

— Бог умер, — заметил ему доктор, напустив строгое выражение. Он барабанил пальцами по стеклу, думая, что уже много лет не был в храме.

— Бог не умер, — кашляя, возразил Филимон. — Он ещё не родился...

Доктор отмахнулся. «Мало ли на Руси духовидцев», — выпятив подбородок, слушал он, как с уст умирающего срываются бессвязные речи. Мир для него давно стал прост, как двугривенный, а жизнь сводилась к такому-то

количеству белка и такому-то — воздуха. Университет объявил остальное пустыми фантазиями, однако слова этого чахоточного воскресили в его душе то трепетное чувство тайны, которое не покидает нас в детстве, то смешанное со снами чувство, которое твёрдо подсказывает, что нужно лишь тронуть чудесную занавеску, и мир предстанет во всей полноте и ясности, положив к ногам свою разгадку. Доктор вздохнул: перед ним лежал скелет, обтянутый кожей. «А всё же его правда, — промокнул он лоб платком, — кругом пошлейшая несуразность и мерзость...»

Двадцать лет он не выходил из больничных стен, замуравив себя заживо, но хуже было другое — он так и не совершил путешествие к горным высям, на которое призывает Господь, даруя жизнь.

«Лучше живым в могиле, чем мёртвым среди людей», — пронизательно зашептал Филимон.

От причастия он отказался, медицина была бессильна. И доктор выписал лишнюю тарелку похлёбки.

В морозящем дожде усатое лицо санитара под капюшоном принимало различные очертания. То это было угрюмое лицо отчима, то злорадные лица мальчишек, прячущих за спиной камни, то разгневанное, будто спросонья, лицо козлобородого дьячка, строчившего донос, мелькнуло красное от сомнений лицо учителя, грубые физиономии каторжников, кладущих под голову кандалы, а потом ребяческая улыбка прапорщика, уродливые черты бродяг...

На земле никто не виноват — всеми движет бездушная, чёрствая воля.

Санитар нависал, как священник на исповеди. А Филимону было нечем оправдаться: он не освободил мир от ужасов, не узнал тайного имени Бога.

«Всяка тварь стонет», — донеслось сквозь туман. Голос, казалось, раздавался отовсюду, проникая за грань

небытия, наполнял эхом бесконечное пространство. Филимон ощутил в нём безмерную тоску, страстный порыв к спасению, он приподнялся на локте навстречу расходившемуся кругами звуку, и тут мир перевернулся, его покровы разлетелись, и Филимон увидел, что все люди — один человек, который принимает на себя муки человечества. Мириады жал вонзились ему в плоть, точно тысячи гвоздей прибили его к кресту, страдания всех живших и живущих обрушились на него, и от этой невероятной боли он закричал.

И мир исчез.

БРАТЯ ЛИФАРЬ

Мосий и Карп расстались у тюремных ворот одногодками, а когда через десять лет Мосий вновь открыл их, то был на десять лет старше брата. «Год в тюрьме — два на воле», — вылизывая тарелку хлебной коркой, учил он Лукьяна и Кузьму. Солнце катилось за подоконник, обед переходил в ужин, но Мосий не мог ни наестся, ни наговориться. Он отбывал срок с москвичами, и младшие братья, подперев щёки ладонями, слушали про столицу, где чужую жизнь пускают под откос, чтобы своя текла по кисельному руслу. Такие речи в Лютоборске были в диковинку, исколесив пол России, новости доходили сюда выцветшими, как старые газеты, и держались, как прошлогодний снег.

— А у нас Кузьма вроде знахаря, — похвастался вдруг хромоногий Лукьян, расплывшись, как блин.

Мосий наострил уши.

— Да брешет он... — смутился Кузьма. — Ничего особенного...

Но Мосий выпятил скошенный подбородок:

— Брось ломаться, выкладывай...

Вместо ответа долговязый Кузьма согнулся над братом, как журавль, обнюхал его сверху донизу.

— Не могу понять, — зашмыгал он носом, — один запах грубый — твой, а сквозь него другой пробивается — от девки, что ли, поднабрался?

— У меня десять лет девки не было, — оскалился Мосий. — А на что тебе мой запах?

Кузьма снова обнюхал его и отвернулся с дрожащими ноздрями.

— Ну, что нанюхал? — насторожился Карп. — Да не молчи, голова садовая...

Кузьма буравил глазами стену.

— Каждая болезнь по-своему пахнет, — тихо промолвил он, ковыряя обои. — А в его запахе смерть сочится...

Мосий побледнел.

— Ну ты, лепило... — начал он с напускной весёлостью. — Меня прокурор приговаривал, теперь родной брат...

Никто не засмеялся.

Вытирая вспотевший лоб, Мосий беспокойно заёрзал. Лукьян нервно зевал, обнажая мелкие, острые зубы, и вдруг соскочил с табурета:

— Так ты ж утром кобеля на цепь сажал...

Хромого, его догнали в дверях, толкаясь, вместе протиснулись во двор.

Под морозящим дождём, свернув набок лапы, лежал околевший пёс.

Перемешивая тяжёлое дыхание, братья сгрудились у собачьей будки.

— То-то всю ночь выл, — пнул мертвечину Карп, снимая ошейник.

А Мосий почесал затылок:

— Надо Кузьму в оборот пускать...

Через неделю у входа на лютоборский базар выросла постройка, в которой открылся косметический салон. Место было бойким, и торговки повалили — той бровь выщипи, той угри сведи. Переступала порог красавица — глаза, как подсолнухи, а косят, у другой ресницы веером, а нос картошкой. Кузьма никому не отказывал.

Голосистый Лукьян, низенький, с оттопыренными ушами, ходил руки в боки, зазывая в салон, а Карп рыскал с бумажкой по деревням, закупаая нужные травы. Деньги вышибал Мосий, Кузьма рук не марал, золотые они были, мял ими лица, крутил носы, щёки, лепил их заново, будто Господь из глины. «Лифарь — под глазом фонарь!» — дразнили Кузьму в детстве. Он злился, кидался в драку, а когда убегали, бросал камни. Теперь он стал важным, с большой головой и глазами, как пудовые гири, его любили женщины и ненавидели их мужья. Но судьба, как голодный пёс: привязалась — не отвяжется. «Лифарь — бабий лекарь!» — обзывали его мальчишки, провожая на рынок.

И он опять швырял в них камни.

Привозила крестьянка мёду, солонины, а всё, что на-торговала, в салоне оставляла. С Кузьмой приходили разбираться, но, когда встречал Мосий, задор пропадал.

— Клейма на вас нет! — только и орали себе под ноги.

— Бараны, — скалился Мосий, — стерегите лучше жён...

Однажды зимней, безлунной ночью к салону натаскали соломы, облили стены соляжкой. Но братья схватили поджигателя, избив чем попало, выгнали голым на мороз...

Под вечер на огромном, дубовом столе считали выручку, разложив на три кучки — одну на чёрный день, другую в дело, а остатки делили. «Внешность — дело прибыльное», — сгребал свою долю Мосий. Экономил на всём, и Карп, затворяя дверь, подолгу возился с проржавевшим замком.

— Но я же могу и мужчин лечить, — вспомнил своё обидное прозвище Кузьма. — И болезни серьёзные...

— От добра добра... — обрезал его Карп, пряча ключ в штаны.

— Да ты никак о пользе задумался? — насмешливо добавил Мосий. И хлопнул по карману: — Вот где вся польза...

За пазухой у Мосия всегда был пистолет. Однажды в лесу, когда он стрелял по бутылкам на пне, из кустов вышел неудавшийся поджигатель их салона, у которого по бокам маячили двое.

— Осталась одна пуля, — просипел он.

Мосий выстрелил воздух:

— А теперь ни одной? — и ткнул дулом в напиравшую грудь.

Домой он вернулся не мрачнее обычного, но с тех пор носил запасную обойму.

Дело у братьев шло в гору, и постепенно они подмяли весь рынок. Городской глава, рыжий, приземистый, с толстой шеей и широко оттопыренными карманами, закрывал на всё глаза. Его часто видели у Лифарей, он вытирал руки о скатерть и ел сразу из двух тарелок. «Мы из вас сделаем Европу! — отвалившись от стола, грозил он веснушчатый кулаком. — Не будь я Караваев-Смык!» Но поборы устраивал азиатские. «Будто Мамай прошёл...» — стонали в Лютоборске, вымещая злобу на воротах городской управы, которые мазали по ночам коровьим навозом. В глаза градоначальника маслили лестью, а за спиной шептались. Караваев-Смык презирал и то, и другое, сограждане давно стали для него прочитанной книгой, из которой он вынес главное: его ненавидят, но вновь изберут.

Дед Коромысл уже разменял свой последний десяток. Он служил у братьев сторожем и, закрывшись в пристройке, ночи напролёт горбился перед телевизором.

— Ишь, едопоп, — тыкал он сморщенным пальцем в чернокожих актёров.

— Это не эфиоп, — ржал Кузьма.

Но дед был туг на ухо.

— Нынче все едопопы, сынок... — стучал он по экрану кривым ногтем. — Потому как жизнь пошла рыжая-бесстыжая...

Кузьма вспоминал городского главу, но намёка не принимал:

— На рыжих и седина не заметна, разве ж это плохо?

Старики спят мало, и дед целыми днями ходил меж рядами, удивлённо косился на прилавки, трогая разложенную снедь. А в обед хлебал суп, приговаривая между ложками: «На рынке всё есть — любви нет...» Случалось, он отчаянно торговался, сбивал цену в половину, но не покупал никогда.

Умер дед Коромысл без копейки за душой. Его похороны оплатил Кузьма Лифарь.

По праздникам Караваев-Смык жертвовал церкви, давал взятку Богу, уверенный, что небесный мир устроен так же, как и земной. Отец Артемий, немолодой, повидавший на веку всякого, деньги принимал, однако держался строго.

— Ты же власть, — причащал он градоначальника. — Себя продаёшь — значит, Родиной торгуешь...

— Если я живу только раз, — гладил рыжие бакенбарды Караваев-Смык, — то тут никакая Родина не поможет, а если я вечен, то что тогда Родина?

Настоятель хмурился:

— У каждого своя ересь...

Но иногда городскому главе делалось стыдно.

— Может, в Москву податься? — покрутив рюмку, чокался он с Мосием.

— В Москву все слетаются, как мухи на говно, — кричал тот, закусывая огурцом, — ты у себя поднимись...

Караваев-Смык качал головой:

— Оно конечно, только в последнее время сердце жмёт...

И болезненно жмурясь, хватался за грудь. Тогда приходил Кузьма, обещал поставить на ноги, пил за здоровье гостя, а Мосий хлопал по плечу: «Учти, Каравай, совесть, как баба: спуску не дашь — замучает...» Кузьма охотно

поддакивал. Но про себя думал, что совесть, как чума, раз проявилась — могила...

И всё шло по-прежнему. По домам глазели в телевизор, а на дорогах, опустив тёмные стёкла, нарушал правила Карваев-Смык.

Люди везде одинаковые: одни унижают, другие терпят, и все — несчастливы.

Городишко был с носовой платок, и вскоре поползли слухи, что братья живут с цыганкой. Говорили, будто Карп подобрал её в таборе, Лукьян привёл на рынок, Кузьма сделал из неё красавицу, а Мосий забрал себе. Как бы там ни было, Зинаида Мигаль поселилась в доме за крепким забором с резными воротами. «Жар-птица, — вынес приговор городской глава, посещавший родовое гнездо Лифарей. — Не будь я Карваев-Смык!»

И долго крутил ус, забыв про разлитую по стаканам водку.

Зинаида и правда была на загляденье, и Мосий приладил её в салоне. Теперь мальчишки, дразнившие Кузьму, плющили о витрину носы: «Мигаль — глаза, как миндаль...» Женщины о таких мечтали, а мужчины изменяли маршрут, чтобы в них заглянуть. Распустив волосы, Зинаида снимала порчу, гадала на картах, держа за руку, предсказывала судьбу.

Но свою проглядела.

— Что будем делать, Карп? — тихо спросил Кузьма, когда в саду собирали яблоки. — Не могу больше бабу делить...

Карп, взобравшись на дерево, чернел, как огромный ворон.

— Так откажись... — ухмыльнулся он, выбросив огрызок.

— Тоже не могу — приворожила...

Наклонившись, Карп принял пустую корзину:

— С Мосием надо советоваться...

Вечером собрались за столом. Долго молчали, потом, размахивая руками, ругались до хрипоты, а в конце всем сделалось стыдно. Свернув бумажки, кинули жребий. По очереди шарили в тёмной шапке, ощупывая каждую, надеялись прочесть имя, тянули с опаской, злыми, потными руками. Выпало Лукьяну. «Так тому и быть!» — подвёл черту Мосий. Успокоенные, разбрелись по углам, но через неделю на счастливице стали коситься. А он и сам оказался не рад, когда схватился с Карпом за ножи.

— В нас одна кровь, — развёл их Мосий, — кто бы ни победил — прольётся...

И тут словно прозрели.

— Чем своя, лучше цыганская... — процедил Карп, с размаху вгоняя нож в дубовый стол.

— Дело говоришь, — протянул ему руку Лукьян.

Зинаиду отвезли в лес — сказали, обратно в табор, а чтобы не прочитала чего по сосредоточенным лицам, пустили вперёд. За женщиной хромал Лукьян, беспокойно зыркал по сторонам Карп, а Мосий, с рукой за пазухой, дышал им в затылок.

— Пропустите от греха... — вдруг глухо проговорил он, отстраняя братьев.

Лицо его было ужасно.

— А ты что же, — вечером поддел его Карп, — готов был нас вместо бабы?

Мосий угрюмо хмыкнул.

Осень на Руси — слякоть да темень, и братья коротали её, гоняя чай.

— Людишки — дрянь, — прихлопнув сонную муху, учил Мосий, — жить не умеют...

— Жить нужно набело, — попыхивая самосадом, соглашался Лукьян.

Лениво кусая сахар, напротив них щурился Карп, распустив возле губ пятерню, дул на горячее блюдо.

— Кому кнут, а кому — хомут, — ввернул он, когда в дощатые ворота постучали. Крыльцо было скользким, и братья, держась за перила, вглядывались в темноту.

— На ночлег пустите? — донеслось сквозь дождь. Убирая со лба мокрые волосы, в луже переминался солдат.

— Не постоянный двор... — развёл руками Карп. — Проси хлеб-соль у начальства...

— Не те времена, — глядя на заляпанные грязью сапоги, поддержал Мосий. — Нам бы семью прокормить...

Солдат обиделся:

— Так у меня тоже дети, а случись война — за всех пойду...

Он смотрел, как сама правда, и хозяйева смутились.

— Теперь каждый за себя, один телевизор за всех... — выручил Лукьян. Выйдя из-за спин, он нагло скалился и, обнимая себя, дергал мочки оттопыренных ушей.

Братья стояли плечом к плечу, и солдат, поправив шинель, шагнул в ночь.

— А не боишься войны? — съехидничал вдогон Мосий. — Сирот кто подымет, если отец не вернётся?

— Это ничего, — исчезая в темноте, обернулся солдат. — Когда война, возвращается Бог...

Мосий сплюнул через плечо. А Кузьме крепко запали эти слова. Теперь он всё чаще вспоминал себя ребёнком, когда небо было голубым, а жизнь прозрачной. Замирая перед зеркалом, он вспоминал, как стало нестерпимо тихо, когда смолкли родительские голоса, как вдруг повзрослел, услышав долгое, как эхо: «И малóго Кузьму, придёт время, возьму...»

Раз в год ходили в церковь. Ставили свечи перед темневшими образами, неумело крестились грубыми, коротким пальцами.

— Никчёмная наша вера... — выкладывал старший из братьев.

У о. Артемия округлялись глаза.

— Жить по ней нельзя, — пояснял Мосий. — Первый встречный на шею сядет... — Он тяжело комкал шапку. — А если не жить, значит, лицемерие одно...

В провинциальном захолустье все грехи наперечёт, никогда ещё о. Артемий не принимал такую странную исповедь. Он вспоминал аргументы, которым учили его в семинарии, но все они казались ему фальшивыми.

— Я в тюрьме всякого насмотрелся, — отвернулся к алтарю Мосий. — Соседа моего брат за решётку упёк. А через пять лет пришёл каяться: на коленях ползает, молит слёзно... Ну, простил его брат, обнялись с плачем, а что толку? Обида-то нутро съела, морщинами вылезла! Нет, из прощения кашу не сваришь...

Мосий неловко замолчал.

— Жизнь земная — только миг, — нашёлся, наконец, о. Артемий. — Господь потом дарует жизнь вечную...

— Ах, вона что... — притворно удивился Мосий. — Значит, мы здесь в кредит? Но тогда и мы свои долги отложим на потом... — Он криво ухмыльнулся. — А вдруг потом — суп с котом?

Лукьяна исповедоваться было на аркане не затащить, едва стихали псалмы, он хромал вниз по ступенькам, уступая очередь Карпу.

— Кабы все по закону жили, — вздыхал тот, — а то один спину гнёт, другой — царь горы...

— Так от Бога награды жди... — простодушничал о. Артемий.

— А за что? — стреляя глазами, ловил его Карп. — За дурь? Что не смог свой кусок вырвать?

И быстро целовал пухлую руку, которую батюшка не успевал отдёргнуть.

О. Артемий совсем отчаялся. Долг заставлял его молиться за братьев, но в глубине он считал их безнадёж-

ными. Его проповеди разбивались о стену, и только Кузьма прислушивался, ероша пятернёй жёсткую шевелюру.

— Тебе Господь талант дал, — давил на него о. Артемий, — а ты кому служишь...

— Я денег не беру, — отвёл он глаза.

— А братья? Они же волки, сколько душ загубили, а свои — первые...

— Я денег не беру, — упрямо повторил Кузьма.

И вдруг стал принюхиваться.

— Ты что? — суеверно покосился о. Артемий.

Сквозь курившийся ладан до Кузьмы доносился запах болезни.

— Чую, беда приключится, только не пойму, с кем...

О. Артемий мелко перекрестился. Как оказалось, в последний раз. Ночью его разбил паралич: рука безвольно повисла, и он слёг, провожая затравленным взглядом менявшую «судно» сиделку.

— Преставился, леший, — оскалился Карп, увидев в церкви молодого настоятеля.

— А потом — сдох скотом... — вбил свой гвоздь Мосий.

Братья процветали, они уже держали распивочные, торгуя водкой, приготовленной в подвале. Самогон лился рекой, деньги текли в карманы братьев. С годами они прибрали весь город, сам Караваев-Смык стал у них на побегушках. Городской глава постарел, осунулся, просиживая целыми днями у окна, разговаривал со стаканом. «Эй, вы! — набравшись больше обычного, высовывался он на улицу. — Я Караваев-Смык, отвечайте, зачем живёте?..» Ему крутили у виска, а он ещё долго сверлил спины горящими, безумными глазами.

От одиночества никто не спасёт, и всё же о городском главе не забывали.

— Каравай-то совсем плох стал... — тревожился Карп. — Кабы чего не вышло...

— Да он скорее в штаны наложит, чем на себя руки... — хмыкал Мосий.

Братья важничали, наняли управляющего, а сами расхаживали, как павлины. Только Кузьма по-прежнему исправлял изъяны, будто верил, что красота спасёт мир. Женщины покидали салон помолодевшими, но красота, как монета, — затираясь, тускнеет, и, набрав годы, они снова возвращались к Кузьме.

Идти домой не хотелось, и после работы Кузьма зачастил на городскую окраину к своему школьному учителю.

— Отчего так, — кусал он заусенцы, — кругом все чужие, даже братья...

И, как в детстве, был уверен, что учитель знает ответ. Но старик только гладил жидкую, серебристую бородку, и от его молчания делалось грустно.

— Это раньше Русь была птицей-тройкой, — кашлял он в кулак, когда Кузьма уже переставал ждать, — теперь она птица с перебитым крылом — скачет, скачет, а взлететь не может...

И всё шло по-прежнему: с лютоборских драли три шкуры, а у них копилось глухое недовольство, в котором они, как в дырявом корыте, полоскали соседское белье, сливая злость в сплетнях и пересудах. Люди везде одинаковые: одни унижают, другие терпят, и все — несчастливы.

Казалось, так будет вечность.

Но вышло иначе.

На масленицу братья угощали. «Гуляйте, православные! — объявил Мосий. — До среды за счёт заведений, а дальше — со скидкой!» На Руси, как у лукоморья, стёжки-дорожки кривые и добро возвращается злом. Братья думали стать благодетелями, а накликали беду. Пропив последние гроши, в пятницу, на «тёщины вечёрки», лютоборские уже громили трактиры, били половых, а в субботу, распалившись, ринулись к дому за высоким забором.

Распоряжался всем чернявый, с глубоким шрамом поперёк скулы, которого звали «бароном».

«Всех убивайте! — орал он, ворвавшись в сад. — Если кровью повяжемся, спросу не будет!»

Прячась за шторой, Кузьма беспокойно отворачивался — отовсюду бил в ноздри запах смерти. На его глазах Мосий застрелил двоих, прежде чем раздавленным червяком скорчиться на пороге. Вытащив из-под телеги, низенького Лукьяна никак не могли утопить — привязав к колодезному ведру, несколько раз поднимали, так что сначала, как мальчишки из-за угла, показывались его оттопыренные уши, а потом он сам. Карпу повезло больше: переломив садовые лопаты, его закололи острыми черенками. Последнего из Лифарей, особенно ненавистного потому, что помогал жёнам задирать нос, мучили дольше. Попадая спяну по пальцам обухом топора, Кузьму приколотили к дощатым воротам. «Попил кровушки, — плевали ему в лицо, — теперь ею умоешься!» Больше других глумился чернявый. Скривив шею, забивал шатавшиеся гвозди, сыпал ругательства, отчего его шрам елозил по скуле.

«Я — брат Зинаиды...» — вдруг приблизил он цыганские глаза.

Но Кузьма не слышал, он опять видел себя ребёнком, когда небо было в алмазах, а жизнь — как на ладони. «И малóго Кузьму, придёт время, возьму», — звенело у него в ушах.

Под утро лютоборские разошлись по домам, помечая дорогу брошенным барахлом, так что к дверям явились с пустыми руками. Наполняя горницы перегаром, отmaterили жён, зачерпнув из кадки рассолу, поставили ковши рядом с кроватью и с детской безмятежностью уткнулись в подушку.

Впереди было прощёное воскресенье, Лютоборск просыпался к обычной жизни, и только висевший на воротах Кузьма чувствовал его смерть...

ДОЛГ

Сора вспыхнула из-за козырной шестёрки. Серафим Герцык покрыл ею туза, а нож Варлама Неводы, выхваченный из-за голенища, пригвоздил карты к столу. Лезвие вошло между пальцами штабс-капитана, но они не шевельнулись.

— Что-то не так? — равнодушно взглянул он.

— Шулер, — прохрипел раскрасневшийся Варлам. Его глаза налились кровью, он был пьян и горстями сгрёб ассигнации.

Дело происходило посреди крымской неразберихи, когда белая армия отхлынула к морю, увлекая за собой мошенников, прокопчённых южным солнцем контрабандистов, петербургских барышень, студентов провинциальных университетов, мужей, годами целовавших жён лишь на фото, и жён, вдовевших с каждым разорвавшимся снарядом. В корчме, битком набитой острыми взглядами и проворными руками, на офицеров не обратили внимания: миллионы подобных ссор вспыхивали здесь до этого, миллионы — после. Только лупоглазый шарманщик с гвоздикой за ухом вдруг затаянул с надрывом: «И улетела вверх душа через дырку от ножа...» В углу два сгорбленных молдаванина, как сумасшедшие, брэнчали на гитарах, бледный, исхудавший еврей то и дело убегал из-за рояля в уборную нюхать с зеркальца кокаин, а красная конница сметала всё за Сивашским валом.

Познакомились час назад, но, как это бывает среди беженцев, Варлам успел выложить всё: про аресты в Екатеринодаре, расстрелы «чрезвычайки», про тачанки, косившие его казачий эскадрон, и про бежавшую в Париж невесту, с которой они условились встретиться «У Максима».

Штабс-капитан кивал.

«А у меня никого, — отхаркивал он кровью в платок под орлиным, нерусским носом. — Разве это...» И, криво усмехнувшись, разгладил на гимнастёрке Георгиевский крест.

«Чухотка», — безразлично подумал Варлам. Румяный, кровь с молоком, он перевидал таких в окопах германской, получив от солдат прозвище «Большой есаул», гнул пятаки и за уздцы останавливал скачущую мимо лошадь.

Игра завязалась сама собой, перекинулись по мелочи, больше для того, чтобы забыться, ставили деньги, которые с каждой минутой превращались в бумажки. Штабс-капитану отчаянно везло. Ему приходили дамы и короли, он едва окидывал их рассеянным взглядом, невпопад бился, но всё равно выигрывал. Его мысли были далеко, он стучал им в такт ногтем по дереву, точно клевала курица, изредка вставал и снова садился, беспричинно обдавая Варлама безумным, едким смехом.

Оскорбив Герцыка, есаул сжал кулаки, ожидая пощёчины, но штабс-капитан отвернулся к окну, точно смотрел вслед своим мыслям. На улице моросил дождь, рыхлый, пузатый кучер, развалившийся на козлах, со скуки хлестал псов, брехавших на коня, пока раскрасневшийся отец семейства загружал тарантас с кривым, пыльным верхом пухлыми чемаданами.

«Надеюсь, мы не станем драться, как мужичьё, — процедил, наконец, штабс-капитан с холодной усмешкой, опять кашлянув кровью. — К тому же у вас преимущество...»

Варлам разжал огромные кулаки.

«Здесь тесно, а на дворе — сыро, — Серафим Герцык зябко передёрнул плечами. — Я не совсем здоров...»

«Струсил», — подумал Варлам.

Вместо ответа штабс-капитан надел фуражку, достал из кобуры шестизарядник, выкатив пять пуль на карты, и, крутанув барабан, прислонил к виску. Раздался сухой щелчок.

«Ваша очередь», — протягивая револьвер рукоятью вперёд, облизал он тонкие губы.

По соседству горланили необстрелянные юнкера в серых от пыли шинелях, широко отставив локти, пили за здоровье убиенного царя, по-мальчишески перекрикивая друг друга, били о пол рюмки, и осколки летели в нищего старика, который грел пятки, уперев их в свернувшуюся клубком собаку.

Варлам зажмурился и, как во сне, спустил курок.

— Я начал первым, — едва переведя дух, услышал он, — надеюсь, вы человек чести и уравниваете шансы во всех случаях...

Серафим Герцык, не моргая, уставился Варламу в переносицу, перевернув револьвер курком вниз. Так, с открытыми глазами, он и встретил смерть — грохнувшим выстрелом ему снесло пол черепа.

На мгновенье воцарилась тишина, взвизгнули женщины, а потом громче заиграла музыка, и все пустились в пляс, чтобы не видеть, как суетятся половые, счищая тряпками кровь того, кто ещё минуту назад был Серафимом Герцыком.

К вечеру красные были в пяти верстах, и военные торопливо оседлали коней, вонзая шпоры, не жалели плетей. Самоубийц не отпевают, и вслед за продырявленной фуражкой тело с Георгиевским крестом понесла река. В последний путь Серафима Герцыка провожали зелёные слепни да увядшая гвоздика, которую, вынув из-за уха, швырнул ему вслед лупоглазый шарманщик.

А есаул не сдержал слова. В нём червоточиной поселился страх. В Севастополе он сходил в церковь, исповедовался. «Беда-то какая вокруг, — вздохнул батюшка, — а вы...» «Чёрт возьми, — посоветовал ему знакомый ротмистр, с которым они брали у немцев «языка», — если уж тебе не вмоготу, пальни в себя, да и выброси всё из головы...» Варлам храбрился, обещал не откладывать, пил с ротмистром на брудершафт, но в душе был уверен, что мертвец утащит его за собой, что он обязательно застрелится, если сдержит слово. «Ты пойми, — жаловался он денщику сквозь пьяные слёзы, — мёртвый убьёт живого, разве это справедливо?» Но по ночам видел гроб, из которого поднимался окровавленный штабс-капитан и требовал долг. Он по-прежнему страшно кашлял и криво усмехался. «Да ты сам искал смерти, — открещивался во сне Варлам, — знал, что до Констанцы не доберёшься...» А иногда вставал на колени: «Христом Богом молю, прости долг, на что он тебе, а я прежде невесте вернуть должен, она-то здесь причём?» Но штабс-капитан был непреклонен. По пробуждении Варламу делалось стыдно, надев мундир, он долго тёр затылок, потом запрокидывал бритую шею, собирая жирные складки, заряжал револьвер. И каждый раз откладывал в сторону, не в силах преодолеть себя, опять видел закрытую вуалью женщину, которая проводит вечера в ресторане «У Максима», посматривая на дверь, снося пошлые разговоры и липкие взгляды. Вспоминая смуглые, нерусские черты штабс-капитана, Варлам подозревал, что на него напустили порчу, золотил ручку цыганам, которые снимали сглаз, катая по блюдцу яйцо и сжигая на свече пахучие травы.

Но не помогли ни ворожба, ни заговоры.

Пароход пенил воду, перекачиваясь на вздыбленных валах, Варлам целыми днями валялся на койке, мучаясь морской болезнью, а когда выходил на палубу, окидывал горизонт мутными, посеревшими глазами.

«Тоже нашёл занозу, — начищая до блеска сапоги, кряхтел рябой, подслеповатый денщик, — одно слово — господа!»

А в кают-компании философствовали.

— Гордиться надо существованием, чай, люди, а не животные какие, — ковырял в тарелке безусый капитан, одетый с иголочки. — Вот лошадь, она, поди, и не знает, что живёт, ей овса подавай, да жеребца поигривей. А мы жизнь псу под хвост кидаем, точно рубаху сбрасываем, подгуляв в дешёвом кабаке...

Дамы с интересом разглядывали его белоснежный, отутюженный китель, мужчины угрюмо молчали.

— В конце концов, у нас долг перед Всевышним... — начинал он горячиться, обводя всех молодыми, васильковыми глазами.

— Э, бросьте, — не выдерживал, наконец, знакомый Варламу ротмистр, — какой там долг — вши невозные... — Помолчав, он безнадёжно отмахнулся: — В жизни всё — дело случая, была Россия, присяга, думали на века, а потом убивали братьев, и впереди — чужбина...

«Да-да, — успокаивал себя Варлам, в горле которого стоял комок, — это же недоразумение, глупая случайность — не встретить я его тогда...» И опять видел шляпку со страусовыми перьями, твёрдо решив взять себя в руки и обязательно доплыть.

Низко и жутко висело небо, за кормой короткохвостые, крикливые чайки хватали растерзанную винтами рыбу, и мир представлялся хищным и беспощадным.

«Лукав человек, — вступал в разговор корабельный священник, подоткнув рясу и для убедительности трогая нагрудный крест, — говорит одно, думает другое, делает третье, грешим и словом, и помыслом, и делом, а раскаяния — ни на грош...»

Густели сумерки, море чернело тревожно и страшно, бешено перекачивая крутые валы, и все чувствовали бездну, которая была глубже воды, ниже дна.

«Да мало ли я лгал? — думал есаул. — Иначе не выжить... — Застыв перед трюмо, он выставял перед собой ладони, казавшиеся в зеркале ещё огромнее. — Разве на них первая кровь? “Надеюсь, вы человек чести...” А сонных на рассвете резать? А пленных рубить шашками: их благородия казаки в бой летят пьяные — чистые мясники! Что вообразил себе этот покойник?»

Усталый, Варлам падал на кровать, его всё больше окутывала звенящая тишина, но во сне он скрежетал зубами и пронзительно свистел, пугаясь собственных криков, вскакивал, зоря спросонья денщика с пятнистым, как птичье яйцо, лицом.

Среди прислуги было много турок и греков, выросших по левому и правому борту своих рыбачьих баркасов, с дублёной от соли кожей, привыкшие к морскому ветру, они насмешливо косились на русских, при малейшем порыве наглухо застегивающих свои медные пуговицы с двуглавыми орлами. И Варлам шарahalся, узнавая то в одном, то в другом штабс-капитана. На впалых щеках у него проступила щетина, резко обозначая выпирающие скулы, заострившийся нос и блеклые, потухшие глаза.

«Подумаешь, слово, — оправдывал он себя, — истина в нём живёт мгновенье и умирает вместе со звуком. Каждый окружён словами, как пасечник пчёлами, надо жить, будто не было этой нелепой дуэли...»

Варлам Невода застрелился в трёх милях от Констанцы. В его каюте было опрятно, бокалы насухо вытерты, а в шестизаряднике больше не было пуль.

— Этих русских не поймёшь, — ворчал стюард-турок, переваливая за борт потяжелевшее в смерти тело.

— Жизни не любят, — поддакнул помогавший ему грек.

КРЫЛО ПЕРЕСМЕШНИКА

За дьяволом — Бог!

В отличие от шахмат в игре есть джокер. Не все умеют им пользоваться, поскольку не знают правил, которые держатся в секрете. Делается это совсем не для того, чтобы хозяева игры имели преимущество — фигура и их озадачивает. В секрете держится и то, что для джокера вовсе нет правил. Подобные знания пугают. Они не предназначены для людей.

Так рассуждал Григорий Цыркун. Он шёл по мостовой, и мысли его путались, как тропинки в лесу. Но каждый раз возвращались к устроителям игры. Кто они? «Я думаю, что — я, ты думаешь, что — ты, он думает, что — он», — эхом откликались каменные дома. Григорий был опытным и уже не лез на рожон, он догадывался, что выиграть невозможно — игру можно лишь затянуть. Макушка у него была, как прокисший, заброшенный пруд — блестела проплешиной, а вокруг неё, зеленея, цвели волосы. В юности Григорию за каждым поворотом мерещился устроитель игры. Однако шли годы, а тот ускользал, словно тень. «Он важный начальник, — решил Григорий, — и у него строгий секретарь — прежде, чем пробиться на приём, нужно заручиться его поддержкой...» Так Григорий переключился на джокера. Он надеялся, что вот-вот его схватит, но хватал спросонья лишь собственный нос. Одно время он подозревал, что джокер и есть устроитель игры. Но это значило бы, что устроитель играет против самого

себя, соревнуется с собой в придуманную им же игру, а это было бы слишком просто.

Григорий был женат, ходил на службу, радовался прибавке к жалованью, на крестинах — смеялся, на похоронах — плакал, но, оставаясь наедине с собой, не прекращал играть. Изредка у него случались маленькие выигрыши, он вычислял каждый свой шаг — но его пересчитывали на два.

«Как кошка с мышкой...» — бормотал он.

И надеялся только на джокера, который разом искупит все его промахи.

Фигура джокера всего одна. Одна на всех игроков, и за кого играть, выбирает сама. Это может произойти несколько раз или не произойти вовсе, и тогда игра будет сыграна без джокера.

Однако фигура эта изначальна — она была до игры. Она — сама игра.

Раз тропинка завела Григория в горы. У глухих скал там вырос бревенчатый храм. Это была не церковь, не мечеть, не синагога. Из-за двери струился свет, внутри горели тысячи лампад. «Для кого жгут? — подумал Григорий. — Кругом — ни души...» И тут заметил, что на пороге горбится монах. Он клевал носом, но его глаза, не мигая, смотрели на гостя. Григорию стало страшно.

— Ты какой веры? — вскинул брови монах.

— В каждом возрасте своя вера, — брякнул с испугу Григорий. — Когда жизнь только начинается, хорошо быть мусульманином, в зрелости — смиренным христианином, а под старость — бесстрастным буддистом...

Монах расхохотался, поднимая себя за волосы:

— И всё равно проиграешь!

Он вынул из кармана зеркальце и, смотря в него, точно боясь промахнуться, стал ковырять зубочисткой, доставая из жёлтых дёсен кусочки окровавленного мяса.

«Так вот он какой — джокер...» — решил Григорий.

— Опять ошибка, — прочитал его мысли монах. — У каждого своя игра, а в твоей вовсе нет джокера...

Григорий разозлился.

— Ну, тогда и ты не нужен! — достав револьвер, прицелился он в жёлтые зубы. — В своей колоде я и сам туз.

— Потом век не отмолишься! — вскинул руки монах, выронив зеркальце. — Учти: ствол стреляет в обе стороны...

И Григорий понял, что его водят за нос. Он раз за разом спускал курок, но монах не падал, как испорченная мишень в тире.

— Упражняйся на воде, — издевался он, — там не промахнёшься, сколько будет кругов — столько «десяток»!

У Григория кончились патроны, но он продолжал сухо щёлкать, пока револьвер не заело.

— Зря ерепенишься, — похлопал его по плечу монах, — слепой ты, как крот...

От обиды Григорий опустил на землю.

— Зато ты больно зрячий, веки-то где потерял?

Монах будто не слышал.

— Заруби на носу, — гнул он своё, — про джокера все лгут. Даже те, кто его знают, в этом не сознаются, а, если и сознаются, — их не поймут...

— Это как?

— А так: я вот моргаю, да ты не видишь моих век и думаешь, что у меня их нет...

И тут Григорий проснулся.

Отменить джокера нельзя. Без него игра — не игра, она становится скучной. Без него выигрывает тот, кто умеет лучше играть.

Гулко стуча каблуками, Григорий Цыркун шёл по мостовой. И каждый шаг приближал его к мысли, что никакой загадки в игре нет.

«Вот и вся правда... — то и дело сплёвывал он через плечо. — Вот и вся правда...»

Так он боднул вывеску «Джокер», намалёванную крупными буквами. В кафе он оказался единственным посетителем, но, приученный жаться к обочине, занял столик в углу.

— Кофе?

Официант вывернул ладони так, что хрустнули пальцы.

Григорий равнодушно кивнул, думая, что, верно, и кофе, и вывеска, и официант — тоже часть игры. Или все играют в разные игры? Спрашивать бесполезно — ответа всё равно не получишь.

— Вы напрасно выбрали этот стул, — суеверно покосилась официант, перебросив через плечо полотенце.

Григорий вскочил, точно ужаленный. На деревянном сиденье было нацарапано: «Здесь был обманут Савватей Шивкопляс».

— Подумаешь, удивил, — пробубнил он, — на земле все обмануты...

— Не скажите, — опять хрустнул суставами официант. — Тут случай особый...

И, собрав морщины на лбу, рассказал

ИСТОРИЮ САВВАТЕЯ ШИВКОПЛЯСА

Савватей был шулером. В юности его побили канделябрами, и с тех пор он стал осторожен: играя замусоленной колодой, сдавал себе крупных козырей, а остальных прятал в рукав. Посвящённый в тайны крапа, он с пяти шагов отличал рубашку «короля»

от платья «дамы» и передёргивал так ловко, что и сам не замечал. И всё равно был недоволен. Чтобы окончательно себя обезопасить, он гонялся за секретом джокера. И вот однажды ему пообещали сменить эту тайну на все его уловки, потому что эта тайна — величайшая на свете.

Григорий барабанил по столу какой-то мотив, пытаясь схватить нить. Игра коварна, иной оборванец может оказаться её магистром.

А Константин Зидроба, владевший тайной джокера, был писателем. Когда-то этот секрет принёс ему успех: о его книгах судачили домохозяйки, их тиражи росли как на дрожжах. Но с годами он старался не брать их в руки, а, взяв, долго водил по страницам крючковатым пальцем и ничего в них не находил. Его сердце стало, как лошадь, которую держат в стойле — овса много, а жизни нет. Тогда Константин решил, что это джокер высосал из него все соки.

И захотел от него избавиться.

Свидание Шивкоплясу он назначил в нашем кафе. Я хорошо помню, как рассеянно следил он за карточными фокусами, то и дело пощипывая щёку — чтобы не уснуть. А Шивкопляр превзошёл себя. Он метал карты на стол, доставая их разве не из ушей. Наконец, Константин Зидроба выложил джокера, сделка состоялась, и каждый ушёл при своём. На радостях Савватей угощал вечером каждого встречного. Он легко тратил деньги, зная, что так же легко вернёт их, что теперь для него нет ничего невозможного. Он думал, что обвёл мир вокруг пальца. Однако вместе с джокером к Савватее передалось безразличие. Игра теперь не стоила для него свеч, ведь победа вместе с джокером лежала

у него в кармане. А шулер без игры, как вор без рук. Савватей стал всё чаще прикладываться к бутылке, засиживаясь за столиком, и однажды, уронив голову на тарелку, умер.

Официант закусил губу, опять собрав морщины.

И Григорий только сейчас заметил, как он стар. Старее отражения в зеркале.

— Вас, Константин Зидроба, стало быть, совесть мучает, — пронизательно заметил он. — Простить себе не можете, что человека погубили...

Официант взял со скатерти сухой бокал и стал протирать полотенцем.

— Совесть, как дворняжка, — облает, но пропустит... — процедил он сквозь зубы. — А вы, однако, догадливы. Раньше я, действительно, пописывал. Но Бог милостив — устроился сюда... — Он развёл руками. — Теперь вот при деле. А клиентов бесплатно развлекаю — люблю, чтобы уши развесили...

Но Григорий не поверил.

— Из какого рукава вы достали тогда джокера? — горячо зашептал он, по-собачьи заглядывая в глаза. — И куда спрятали?

— Хочешь спрятать — положи на видное место, — хотнул официант.

Но отделаться от Григория было непросто.

— Откройте же и мне секрет... — пираньей вцепился он.

Глаза официанта превратились в бритву.

— У меня его больше нет, — полоснул он. — Эту тайну передают только раз. Или уносят в могилу... Кофе?

На стул Григорий опустился, будто на кол.

«Битый козырь не может быть джокером...» — уперев щёку в кулак, гадал он на кофейной гуще.

В существование джокера можно только верить. Григорий узнавал его, как льва по когтям, то здесь, то там замечая его отметины. Он кожей чувствовал его присутствие, как в зеркале, видел его отражение в посторонних предметах. Григорий шёл на ощупь, то приближаясь к нему, то удаляясь, но всегда чувствовал, как за спиной, точно крылья у ангела, у него маячит чужая тень. Иногда джокер рисовался ему человеком, иногда птицей, но чаще не имел образа. Однако Григорий был убеждён в его всевластии, он приписывал ему свойства волшебного эликсира и философского камня.

«Кажется, дни кружатся, как осенние листья, — думал он, — но всем верховодит джокер...»

В детстве Григорий всегда ходил с книгой, защемив в ней палец, так что казалось — палец прирос к ней. А в университете грыз науку. «Когда жизнь дорожает, — долбил он, — тогда человеческая — гроша ломаного не стоит». И теперь на его глазах людей покупали за пару медяков, а они кивали, как китайские болванчики, их ждала одна участь, а они, выстраиваясь, как матрёшки, дрались в очереди. Они проводили глупую, унылую жизнь, предавали, ссорились, мало мечтали, а на поминках много пили оттого, что нечего было вспомнить.

Но люди не виноваты. Это всё подстроил джокер — злобный карлик с ухмылкой до ушей. «Пьеса совершенна, — думал Григорий, — но её портит суфлёр». Он прислушивался к себе, стараясь прочесть отведённую ему роль. Однако слышал только насмешливый голос джокера. Разбившись на множество голосов, он гремел отовсюду, как посуда в шкафу, указывая, каким нужно быть. Но Григорий чувствовал, что его только путают, уводят от того, кем он должен стать в действительности. Он бросил работу, разошёлся с женой. И целыми днями тарачился в зеркало, стараясь разглядеть своё лицо.

Но видел лишь маску, которую нацепил ему джокер.

И тогда представлял, как проткнёт его иглой, будто ядовитое насекомое.

Была ночь, и мысли путались, как мошकारа над лампой. «Ужас в том, что простое живёт за счёт сложного, — думал Григорий. — Даже комары ищут крови, которая устроена сложнее их...»

И опять он ходил к писателю. И опять выспрашивал.

«Джокер открывается не всем, — кривился тот. — Нужно выдержать испытание — и через это полюбить его. Ибо любим мы только тогда, когда страдаем, и чем выше цена, которую заплатили, тем сильнее любовь... — И будто про себя шептал: «А Шивкоплясу-то джокер даром достался, без мук, вот он и поплатился...»

А Григорий ломал голову, чего от него хотят, пока не решил, что поиски джокера — само по себе серьёзное испытание. Мало кто его выдерживает, ещё меньше тех, кто на него отваживается. Это испытание нельзя пройти вслепую, держась со всеми за верёвку поводыря, тут каждый — один.

Писателю Григорий порядком надоел. «И отчего у меня ногти на правой руке растут быстрее, чем на левой?» — выгнув пальцы, всё чаще переводил он разговор. Григорий смущался, давая себе слово больше не ходить сюда. И каждый день ноги сами несли его в «Джокер». Он точно ждал, что у него вырастет третий глаз, и он разглядит за привычной обстановкой тайные знаки, которые выведут его на джокера. Ему казалось, что тот прячется за занавесками отдельных кабинетов, он бросался туда, как за кулисы, вытаскивая на сцену растерянных посетителей. Григорию чудилось, что он вот-вот схватит там и джокера, который утекает, как вода между пальцев.

Наконец, его выходки стали невыносимы.

«Топай, топай, — выставил его Константин Зидроба. — Джокер тебе не по зубам — следи лучше за своей тенью...»

В каждом деле Григорий подозревал двойное дно, невидимую, скрытую от всех изнанку, поэтому в счастливые дни особенно не радовался, а в несчастные — не огорчался. «Что для нас счастье? — крутил он усы, размышляя о проделках джокера. — Вот Шивкопляс, дурак, радовался, думал, выгоду получил... А как понял всё — руки на себя наложил!»

И была мысль, которую он гнал от себя, и которая, возвращаясь, кусала, как августовская муха. Неужели игра затеяна, чтобы потешить джокера? Неужели за ним никого нет?

Надеешься, что попадёшь к королю. А встречает шут.

Иногда джокер рос в его глазах, как тень гигантской птицы. Ему казалось тогда, что весь мир находится под крылом этого пересмешника, который не пропускает к истине, заставляя топтаться перед распахнутой дверью. До истины рукой подать, но, сгущая туман, джокер делает её невидимой, истина молчаливо взывает, но, крича тысячью голосов, он забалтывает её.

«Надо освободить мир, — стискивая зубы, решал Григорий, — нужно спасти его от джокера!»

Но джокер вездесущ.

«Тоже мне, спаситель! — хохотал он внутри. — Эту роль ещё заслужить надо!..»

Джокеру, как ветру, открыты четыре стороны, и Григорий искал его на севере.

Стучал поезд, колёса сматывали рельсы, и Григорий откровенничал с раскрасневшимся попутчиком, дувшем

седьмой стакан чая. «А я вам вот что скажу, — вдруг перебил тот. — Джокер — это, верно, бог, который забыл, что он бог. Сам он давно потерял дорогу, заблудился, и теперь его пользуют все, кому не лень... — Попутчик промокнул платком вспотевший лоб. — Этот полоумный божок уже не отличает добра от зла, его правая рука не ведаёт, что вершит левая. Его водят на верёвке, как слепого, и он тычет пальцем, не разбирая правого и виноватого...»

Попутчик уставился в окно, за которым мелькали деревни, плыл скудный пейзаж. День был серенький, задумчивый, мелкий дождь солил фуражку путевого обходчика, напыленную глубоко на уши, так что на лбу, как клюв хищной птицы, торчал козырёк.

«Хотя, — почесал он затылок, — вариантов здесь — хоть к цыганке... Может, джокер — это совесть? Да-да, наша совесть, которая молит, чтобы ей подняли веки...»

На минуту Григорию показалось, что поезд пролетает станции без остановки, что он, сжигая за собой мосты, лезет в гору, которую ему не одолеть. Григорий открыл, было, рот, но слова застряли в горле. Тогда он стал объясняться жестами. Он говорил долго и убедительно, но не понимал, о чём. А попутчик кивал, будто слушал историю Савватая Шивкопляса, находя в ней подтверждение своим мыслям.

«От себя не уйдёшь даже с джокером, — подвёл он черту. — Нас держат на коротком поводке...» И, передёрнув плечами, неожиданно заорал: «Да закройте же, наконец, это чёртово окно!»

Натянув одеяло на голову, Григорий Цыркун лежал под форточкой и бормотал во сне, стуча зубами от холода.

Месяцы потянулись, как вагоны товарного поезда, разрезавшего густую, непролазную метель. По утрам, уткнув палец в зеркало, Григорий выдерживал паузу, после которой начинал монолог:

— Джокер — это ветреный мальчишка и забывчивый старик. Но — посмотри: весь мир такой — в нём помнят только сегодня, не оглядываясь на вчера, не заботясь о завтра. Джокер переделал мир под себя, стал в нём хозяином — нужно угадывать его настроение. А ты не хочешь. Надо держать нос по ветру. А ты не умеешь. Твоя игра — сплошное недоразумение: тот, с кем ты состязаешься, давно из неё вышел, забыв про твоё существование...

— И все так, — поддакивали из зеркала, — игра для всех чужая...

И опять Григорий думал, что игра ведётся ради игры, что даже джокер в ней всего лишь шестёрка.

А однажды он поделился своими мыслями. Дело было на юге, его собеседником оказался худенький, сгорбленный старичок, который оглаживал редкую бородку. Они сидели на камне, море катило волны и, разбиваясь о скалы, сыпало под ноги брызги. «Что же, молодой человек, — ищите и обряцете», — выслушал он исповедь Григория. И тот подумал, что старику не хватает рясы с целовальным крестом. «А хотите признание? — прочитал старик его мысли. — У каждого ведь свой джокер, своя рамка, в которую вставляют мировую картину... Я, как вы уже догадались, бывший священник...» Оттопырив мизинец, он почесал нос, не выпуская бороды. «После семинарии направили меня в местную церковь, начал я служить, но времени оставалось много — хватало на вольнодумство. И однажды влетела ко мне мысль, покоя не даёт... Святые иконы кадиллом окуриваю, а сам всё размышляю — отчего миром мертвецы правят? Сами подумайте: по каким заповедям мы живём? Кто нам законы устанавливал? Книги для нас писал? Хотя и знаю, что у Бога мёртвых нет, а сомнение всё равно гложет... Как же так, думаю, несправедливо, чтобы мёртвые над живыми верховодили! И до того додумался, что мерещиться стало, когда покойника отпевал, будто душа

его к звёздам отправляется, а оттуда — землёй править, судьбы вершить... И всё, что за земную жизнь накопилось, вся мерзость, обиды, склоки разные — обратно на наши головы выливать... — Старик замолчал, глядя в морскую даль. — И такая складная картина вышла — хоть трактат пиши! За то, что натерпелись, мёртвые теперь над нами глумятся. А может, хотя по-своему мир перекроить? Каждый ведь со своей колокольни его видит и так переделать мечтает, чтобы собственные ошибки больше не повторялись. Однако ж по своему времени судит, а все времена одним аршином не измерить — вот и выходит по-дурацки...»

Жесты — как ветрянка: задрав подбородок, Григорий стал ковырять шею, сматывая волосы в колечки.

«А русскому человеку что втемяшится — колом не выбьешь! И я хожу гордый, невдомёк, что ересь к небу прилипла... — Старик хитро прищурился — и вдруг расхохотался, обнажив кривые зубы. — Ну что, поверили? А я наврал вам с три короба! Может, и писатель ваш также? Человека одурачить легко... Человек, что былинка — дунул, он и полетел...»

Плюнув между колен, Григорий поднялся.

«Мёртвым-то, небось, тоже пожить охота, вот и мстят...» — неслось ему вслед, и он спиной чувствовал, как скалится старик.

Джокер — это удача, везение, судьба. И одновременно — обман, лукавство, подвох. Он даёт, чтобы отобрать. Это доставляет ему удовольствие.

Там же, на юге, Григорий угодил к гадалке. В саду пахло яблоками, стол с колченогими стульями был завален картами, мисками с «живой» и «мёртвой» водой, разноцветными стеклянными шарами. Протянув руку через стол, Григорий слушал про своё прошлое, про то, чего не было,

и ему казалось, что это было. Цыганка водила по ладони кривым ногтем, от щекотки у него слезились глаза, но он терпел.

«Каждое лекарство по-своему пахнет, а вместе — аптекой, — ворожила она. — Так и человек свой аромат носит, а в толпе его запах выветривается...»

Зобатая, толстая, в своем чёрном платье она была похожа на колокол и также тяжело гудела.

«Однако джокер — он особенный, у него тень не как у людей — налитая, тяжёлая... По тени его сразу узнаешь...»

«Вижу, вижу, — бормотала она, вперившись в дымившееся зелье, — смутил тебя писатель Константин Зидроба...»

И уже катая яйцо по блюдцу, пересказала историю Савватея Шивкопляса.

Григорию стало страшно.

«Что для нас счастье? — впилась в него взглядом цыганка. — Вот же Савватея угораздило тайну выведать, думал, теперь он кум королю, а вон, как всё обернулось...»

И вдруг засверкала глазами: «А ты никому больше про джокера не сказывал?»

Григорий наморщил лоб и, зажав бородку в костлявый кулак, выложил про священника.

«Это ничего, касатик, ничего... — запричитала цыганка, колдуя над мутным зельем, которое на глазах светлело. — А что, заводил он свою песнь про мертвецов?»

Григорий кивнул.

«Помирать пора — вот и философствует... — вздохнула цыганка. — А у самого грехов — полный воз! Да и ясно всё с мертвецами, как божий день...»

Григорий удивленно наморщился.

Цыганка поправила платок, из-под которого лезли чёрные, как воронье крыло, пряди.

«У ребёнка своего ничего нет, — начала она издали, — он всем природе обязан, в долг живёт. А с годами природа скудеет, своим умом жить заставляет, что накопил — с тем к Богу и явишься. Ангелы на небе костяшками щёлкают, мимо их бухгалтерии не прошмыгнуть! “Ключи от райских ворот были в твоих руках, — говорят они, хлопая крыльями. — Человек — это то, что остаётся после вычитания его из самого себя...”»

Григорий уже не слушал.

«Неужели за джокером никого нет? — клевало его внутри. — Неужели — никого?»

Годы тянулись, как зелёная гусеница по жёлтому листу. Григорий постарел, от его прежней настойчивости не осталось и следа. Теперь он всё чаще смотрел на всех так, будто они мешали ему видеть за собой кого-то скрытого, кто таился за спиной, ощупывая оттуда глазами весь белый свет.

«Ищут одни — находят другие», — щипал он перед зеркалом разросшуюся плешь.

И ещё долго всматривался, прожигая стекло до амальгамы, будто видел там джокера.

На дверях психиатрической больницы нет ручек, чтобы сходить в уборную, приходится каждый раз звать санитара. Григорий здесь давно. Так давно, что кажется, никогда отсюда не выходил. Он пожелтел, высох, но не перестаёт искать джокера. В его воспалённом мозгу им оказывается то главный врач, то забившийся в щель таракан, то шизофреник, представлявший курицу, у которой отрубили голову. «Давно свихнулся...» — крутят ему у виска. Григорий соглашается. Не всё ли равно, какая ложь, если не знаешь правды? Однако он знает виновника своих бед, и против его упрямства бессильны все аргументы.

А недавно Григорий подхватил воспаление лёгких и теперь безразлично наблюдал сквозь тяжело слипавшиеся веки, как разводят руками доктора.

Годами к нему никто не приходил, а перед смертью навестили. У его постели сгрудились Константин Зидроба, похожая на колокол гадалка, не вынесший тайны Савватей Шивкопляс и безумный монах, снившийся ему давным-давно.

«Жаль, — безнадёжно махнул Константин Зидроба. — Придётся сворачивать игру...»

«Ведь она велась только для тебя», — добавил Шивкопляс.

«А без тебя потеряет смысл», — подвела черту гадалка.

Они по очереди вздыхали, словно дурные актёры, и, задирая подбородок, протыкали пальцами воздух.

Григорий глянул на свою тень — она густо почернела, будто налилась свинцом, и стала бешено плясать, стараясь забиться под пол.

И тут Григорий Цыркун полюбил джокера. Он хлопнул себя по лбу, чтобы, умирая, прикоснуться к нему.

СХОДЯЩИЙСЯ РЯД

Было время: в огромной стране стояла весна, на улицах продавали мимозы, а студент Ванечка, умываясь перед зеркалом, делал из волос рожки.

В то воскресное утро отец, упирая в колени кулаки, долго кашлял, прежде чем вышел на кухню.

«Сходящийся ряд стремится к пределу», — крутил он в левой руке папиросу, а в правой ручку. Мать готовила, и отцовский голос смешивался с табачным дымом, пыхтением чайника, дребезжавшими от трамваев окнами, сквозь которые сочился запах талого снега. Взгромоздившись на табурет, Ванечка грыз заусенцы, переписывал в тетрадь формулы, а потом, рисуя на стекле своё имя — пар ещё не сошёл, и оно текло каплями — слушал, что жизнь — это железная дорога, на которой нельзя изменять расписанию. И Ванечка соглашался. Скоро он пойдёт к себе, а мать, стоя на цыпочках под дверью, будет шептать, скрещивая губы пальцем: «Занимается...»

В своё время отец тоже учился математике, но вместо диплома ему пришлось защищать дом. С фронта он принёс осколок, душившую по ночам астму и желание сделать из сына учёного.

Ванечка был поздний ребёнок. Расчесывая ему на ночь взбесившиеся локоны, мать, не удержавшись, гладила их мягкой ладонью.

Он отстранялся, ему делалось стыдно.

Но он, и правда, был хорошенький: в тёмной фланелевой рубашке, с едва пробивавшимся пушком, милыми, доверчивыми глазами. Его мир был чёрно-белым, как шахматы, он делился на успевающих и тех, кому учёба не впрок. Таким давали списывать, смеялись, как над Гогой, которого тянули за уши благодаря связям. А Ванечка не сомневался, что ему воздастся за аккуратный почерк, за плившие перед рассветом сумерки, когда, отворотив одеяло, мать трясла за плечо: «Смотри, опоздаешь!»

Казалось, так будет вечно.

Той весной отец умер.

О чём писать дальше? Из любой жизни получится много рассказов.

Ванечка с грехом пополам окончил университет, и его поезду перевели стрелку. «Приходи когда угодно, только не опаздывай», — требовал начальник. И Ванечка понял, что много учиться — значит воздвигать себе тюрьму, что в юности берегут минуты, чтобы потом терять годы. Но он быстро освоился: научился протирать штаны и считать ворон. В кабинетах он подавлял зевки и отводил глаза, а в коридорах всё чаще кусал губы. Перебирая дни, как замусоленные чётки, Ванечка привыкал к неделям, изрешечённым столовскими обедами, перед которыми разводил в стакане казённый спирт.

Вечерами накануне праздников он горланил на работе застольные песни, а дома на другой день плакал.

К этому времени он окончательно осиротел — в голледицу, под Рождество, мать сбила машина. После похорон Ванечка не смог вернуться в родную квартиру: слышать щёлканье канарейки и молчание аквариумных рыб было невыносимо. Он сменял её быстро и нерасчётливо. Ванечка сильно похудел и, приходя на могилу, подолгу сидел за оградой, в углу, на грубо сколоченной скамейке, осунувшийся, курил, разминая меж пальцев туго набитый

отсыревший табак, всхлипывал, дрожа плечами грязного, заношенного до дыр плаща.

Тогда же он обратился к Церкви, пытаюсь повернуть жизнь, исповедовался батюшкам, про которых думал, что им больше, чем ему, приоткрыта тайна. Но целуя их пухлые запястья, чувствовал в них суровых экзаменаторов, а стать студентом уже не мог.

«Мир — это книга без автора, — в конце концов, решил Ванечка. — Кто захочет поставить под ней своё имя?»

Женился он без любви. Днём ругались до седьмого пота, а ночью замерзали, как рыбаки у проруби. «Развод — раз в год», — с деланным безразличием пошутил на суде Ванечка, но на душе у него скребли кошки. С той поры у него рос сын, о котором он вспоминал, только когда бывал пьян. Уставившись мутными глазами, он обещал тогда случайному собеседнику, кивавшему невпопад, разыскать его, будто не знал адреса, и сделать из него человека.

«Ты пойми, — шевелил он непослушным языком, — мальчишке нельзя без отца...»

И опять казалось, что рельсы кончились, и поезд застрял в тупике. Но для беды всегда найдётся запасной путь. Как карточный домик, развалилась страна, и тех, кто считал облака, сменили те, кто считает деньги. Ванечка забился в щель, но повсюду стали искать крайних — кому грош цена.

— Рыба тухнет с головы, — попробовал заикнуться Ванечка в высоком кабинете.

— Зато чистят её с хвоста, — вытолкали его, и на улицу он вынес, что счёт предъявляют одни, а платят другие.

На Руси от суммы да тюрьмы не зарекаются, а чёрной работой не брезгают. И Ванечка устроился на рынок, куда в детстве ходил с родителями. «Мама, пойдём...» — капризничал он, дергая за тяжёлую сумку, чуть не плача от жадных окриков и готовой затоптать толпы.

А теперь круг замкнулся. Железным ошейником.

«Приводя к нелепости, — думал Ванечка, — судьба доказывает свою правоту, как теорему, — от противного...» Прыгая воробышком на лютом морозе, млея от жары на раскалённом, обжигающем ступни асфальте, Ванечка силился разгадать эту теорему.

Но мир — это книга без читателя, кто разберёт её язык?

Ванечка отпустил курчавые бакенбарды, а манеры приобрёл заискивающие и одновременно наглые, как у дворовой собаки. Он смеялся неприятным смехом и путался с торговками, пахнущими чесноком, которые звали его «математиком».

Трезвым он теперь бывал редко, а сердился только, когда хвалили чужой талант.

«Тоже мне, сходящийся ряд!» — ворчал он, красный от обиды.

Однажды на рынке он встретил Гогу. Стеснялся, облизывая языком потрескавшиеся губы, пока тот объяснял, что лучше родиться коровой в Индии, чем свиньёй в Аравии, переминался с ноги на ногу, но о помощи не заикнулся. Темы быстро исчерпались, и в повисшем молчании однокашник сунул в ладонь: «Бери, бери, не пообедаю...»

В тот день Ванечка резал вены.

Дальнейшее банально. Он уже не работает на рынке и кое-как перебивается, пуская случайных постояльцев. Носит драное пальто, вылинявший шарф, у него немые, свалывшиеся волосы. Спит он, где попало, и озорники дразнят его «Ванькой-встанькой». Иногда его можно увидеть у книжных лавок.

«Учебники математики, — ловит он за рукав прохожих. — Вашим деткам...»

Ванечка ещё не стар, но по утрам видит в тусклом зеркале жёлтого, изъеденного червями мертвеца. На могилу

родителей он больше не ходит, зачем, скоро они и так свидятся, ведь скоро он опять станет весёлым, умным мальчиком, с красивым почерком и ангельскими кудрями.

Судьба — опытный голубятник: предлагая летать, гоняет по кругу.

Раз на школьный двор за сыном пришёл отец. Сын бросился к забору. На нём резиновые сапожки, за плечами ранец с расстёгнутой «молнией». Осень выжимала из неба последние дожди, и Ванечка, вцепившись в железные прутья, похолодел, как камень в луже.

Это был его сын. Но за ним пришёл другой.

До прибытия поезда теперь рукой подать, и годы плывут с тупым однообразием. Лишь пронзительной ранней весной, когда на прогалинах кричат птицы, а в воздухе носится запах мимоз, Ванечка, растянувшись в одежде на колючем матрасе, видит промелькнувшую дурным сном жизнь, в которой явью были несколько часов того далёкого холодного утра, когда отец рассказывал ему про сходящийся ряд.

Отвернувшись к стене, Ванечка ковыряет лупившуюся краску и видит впереди чернеющий предел.

ПАЛАЧИ

Ульян Кабыш и Куприян Желдак были мастерами своего дела. «Ну, ну, парень, — надевал петли на шею Ульян, — бабы и не то терпят, а рожают». «Обслужу по первому классу, — подводил к плахе Куприян, — и глазом не успеешь моргнуть!»

Городок был маленький, всего одна тюрьма, и палачам было тесно. Едва Ульян доставал верёвку, как за спиной уже с мрачной решимостью вырастал Куприян, остривший топор. Перебивая друг у друга работу, они перебивались с хлеба на квас, и лишь после казней позволяли в трактире штоф водки под тарелку кислых щей. Их сторонились: женщины, указав на них детям, мелко крестились, мужчины плевали вслед. «Наше дело тонкое», — ухмылялся Ульян. «Выдержка в нём, как верный глаз», — поддакивал Куприян.

Кто из них донёс первым, осталось тайной. Но он скоро пожалел — обиженный не остался в долгу. Ульян обвинялся в измене, Куприян — в хуле на Духа Святого. Клевета полилась рекой, затопляя горы бумаги, заводя следствие в тупик. Не помогли ни дыба, ни кнут — на допросах каждый стоял на своём.

— Ну что ты, как клоп — тебя раздавили, а ты всё во-няешь, — твердил на очной ставке Ульян.

— Прихлопнул бы, как таракана, — эхом отвечал Куприян, — да руки марать...

Но до кулаков не доходило — боялись судебных приставов, привыкнув, чтобы всё было по закону.

Разбирательство провели на скорую руку: улик не было, слово против слова, и присяжные, чтобы не упасть в грязь, решили не мелочиться, сослав обоих.

Приговор слушали молча, не отводя глаз, и каждый радовался, что пострадал обидчик.

Ульян был вдовый, жил с немой солдаткой, Куприян и вовсе бобыль — их было некому оплакивать, а провожали только собственные тени.

Слухи, как птицы, и в арестантской роте им выдали одни кандалы на двоих. Громыхая, они цеплялись ногами, шипели дорогой, и только на стоянках, когда цепь размыкали, расползались по дальним углам. Скованные, вместе считали вёрсты, кормили вшей и, когда один мочился в канаву, другой стоял рядом. «И нет ни Бога, ни чёрта», — думал Ульян, слушая, как скрипят сосны. «Есть одна человеческая злоба», — соглашался с ним косыми взглядами Куприян.

Ржавчина крыла листву, кругом стояли лужи, шлёпая по ним, арестанты, казалось, спугивали мокрую собаку, которая, забегая вперёд, опять сворачивалась на дороге.

Ульян был русак — круглолицый, с окладистой бородой, в которой уже била седина. Его васильковые глаза смотрели печально, медленно вращаясь по сторонам, точно не поспевали за целью. А Куприян родился чернявым, как цыган, с бойкими, наглыми глазами, которые метались по лицу, как кобель на привязи.

«У нас то густо, то пусто, — бахвалился он на ночлегах, — бывало, приговорят к смерти купца за растрату или одичавшего от голода разбойника — и всё. А рваными ноздрями да клеймами разве разживёшься? Зато чуть бунт — и работы хоть отбавляй! Тогда и в кармане звенит,

и на душе легко...» Его глаза лезли из орбит, и он всем видом показывал, что у него в руках дело необычное.

А Ульян угрюмо молчал.

Но обоих слушали с нескрываемым ужасом.

Хлеб делили по-братски: один разламывал, другой выбирал. Уставившись на горло, жадно провожали чужой кусок, похлёбку черпали из миски по очереди, сдувая с ложки налипший гнус.

И, как улитки, тащили на горбу свой пустой дом.

Ночами у Куприяна ныли зубы, и он снился себе ребёнком. Вот отец, целуя, колет его щетиной — от отца, вернувшегося с сенокоса, пахнет луговой свежестью, которую скоро сменит запах водки, вот маменька несёт кринку молока и, пока он запрокидывает голову, расчёсывает ему упрямые колтуны. Мелькает приходская школа, козлотородый дьячок, распевавший псалмы и твердивший, что закон Божий выше человеческого, промозглая чумная осень, когда он мальчиком стоял возле двух сырых могил, смешивая слёзы с дождём.

«Люди, как часы, — думал, проснувшись, Куприян, — их завели, и они идут, сами не зная, зачем...»

Наконец добрались до места и поселились в одном бараке. Днём валили лес, корчевали пни, а вечерами, проклиная судьбу, как волки на луну, выли на образа с лампадкой в углу, копили злобу в мозолистых, почерневших ладонях. Переругивались тихо, но эхо на каторге, как в каменном мешке. И опять им аукнулось: кто-то донёс, а на дознании они вынесли сор из избы. «У вас был суд человеческий, а будет Божеский, — крутил ус капитан-исправник. — Господь выведет на чистую воду!» Когда-то он был молод, учился в Петербурге, в жандармском корпусе, и готов был живот положить за веру, царя и отечество. А потом его отрядили в медвежий угол, в кресло под портретом государя, из которого видна вся Сибирь, и он быстро понял, что с иллюзиями,

как с девственностью, надо расставаться легко. Теперь он сверлил всех глазами с копейку, точно говоря: я птица стреляная, меня на мякине не проведёшь!

Но скука, как сиротское одеяло, одна на всех. И капитан-исправник не раз хотел удавиться, однако, начальствуя в глуши, стал таким беспомощным, что не мог сделать даже этого. Он тянул ляжку от лета к лету, а зимой, когда сугробы лезли на подоконник, топил тоску в стакане.

В коротких сумерках закаркали вороны, снег, закрывшая пол окна, всё падал и падал, тяжело прибавляя дни, которым не было конца. Капитан-исправник опять думал о самоубийстве. А тут подвернулись мастера заплочных дел, и ему пришла мысль, что любой из них может оказать ему услугу. От этого ему стало не по себе. «Они за грехи, а я за что?» — обратился он к портрету государя. И его вдруг охватило желание жить. Он вцепился в подлокотники, ёрзая на кресле, возвышавшем его над обвиняемыми, и с мрачной весёлостью приказал им пытать друг друга.

Была суббота, и состязаться решили завтра после церкви, когда у ссыльных выходной.

Ночью Ульян вспоминал бессловесную солдатку, замученных в застенках воров, как шёл с Куприяном по этапу, помечая дорогу пересыльными пунктами. Сияли холодные звёзды, тишина густела, проникая в уши, давила, а на стене, ворочая маятником, как языком, страшно тикали часы: кто ты? что ты? кто ты? что ты?.. Ульян стал молиться, вперившись в темноту, шевеля, как рак, поседевшими усами. Ему пришло на ум бежать, но, пересчитав на снегу волчьи следы, он сорвал с крыши сосульку и, растопив её в ладонях, умылся.

А под утро пошёл к Куприяну — мириться.

Куприян спал.

«Сил набирается, — зло подумал Ульян. — Задушить, а сказать — руки наложил...»

Стоя в дверях, долго мял шапку. И опять пересилила привычка подчиняться закону.

Тускло блеснув, исчезла луна. Ульяну сделалось дурно.

— Одни мы с тобой на свете, — растолкал он Куприяна, — вся жизнь на глазах...

— А теперь и смерть, — оскалился Куприян.

Спросонья он тряс включенной бородкой и казался ещё страшнее.

За ночь Ульян постарел, Куприян ещё больше осунулся.

«Ну что, соколики, с Богом! — перекрестил их капитан-исправник. — Покажите своё искусство». Начали с плетей. Стесняясь, стегнули нехотя — раз, другой. Но потом разошлись. Засучив рукава, скрипели зубами, сыпали удары, так что пот заливал глаза. Вопили, скулили, визжали, но не отступали от своего. Холщовые рубахи уже повисли лохмотьями, озверев от боли, готовы были засечь друг друга. «Эдак вы раньше срока шкуры спустите», — скривил губы капитан-исправник, который пил вино мелкими глотками.

Из избы валил пар, арестанты грудились по стенам, то и дело выбегая на мороз по нужде. Гадали, кто выдюжит: Ульян был крупнее, зато Куприян жилистее.

— Привыкай, — издевался Куприян, подступая с жаровней, — в аду и не такое пекло...

— Давай, давай, — огрызался Ульян, хлопая опалёнными ресницами, — потом мой черёд!

И у Куприяна дрожали руки.

Наконец, каждый взялся за любимое: Куприян за железно, Ульян — за пеньку.

— Любо, любо... — свирепели от крови арестанты.

— Тешьте народ! — перекрикивал их капитан-исправник, красный от вина, и его глаза-копейки превращались в рубли.

Но они уже ничего не видели, ненависть застилала им глаза, а руки, как у слепцов, продолжали калечить...

Первым не выдержал Ульянов Кабыш, его медлительные глаза остановились, а мясо повисло на костях. Смерть выдала его — у живых виноваты мёртвые. Перед тем, как разойтись, кинули жребий, разделили — кому лапти, кому порты. На саван не тратились: чтобы не поганить кладбища, тело бросили в тайгу.

Куприян Желдак оказался счастливее. Два дня он носил оправдание, как чистую рубаху, смыв позор, чувствовал себя прощённым. Но теперь, когда Ульяна не стало, у него шевелилась жалость. Он ощущал, что осиротел во второй раз, точно из него вынули его лучшую часть. «И прости нам долги наши, как прощаем и мы должников наших», — причащал его батюшка, пожелтевший от цинги. Вместо исповеди Куприян хрипел, высовывая распухший язык. Священник потребовал покаяния. «Брат...» — выдавил шёпотом Куприян. И его глаза в последний раз беспокойно забегали.

С неба смотрели звёзды. Неподвижные, как глаза мертвеца. «Это Ульянов глядит...» — напоследок подумал Куприян, отправляясь к Тому, кто послал ему любовь через ненависть.

СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

Афанасий Кудлат пересчитал всех овец, но сон не шёл. Осенняя ночь, злая, с дождём, давила на дутые занавески, то и дело дребезжало стекло, стряхивая капли, как мокрый пёс. Зазвонил телефон. Заспанная жена поверх подушек протянула Кудлату трубку.

— Да?

— Серёжа умер...

Кудлат поперхнулся:

— Когда?

— Час назад... Инфаркт...

Слова, как паутинки, — от боли не укроют.

— Извини, больше не могу...

Глухие, как из колодца, гудки.

— Кто это?

Жена подавила зевок.

— Сергей...

— А-а... — не дождавшись, отвернулась к засаленным обоям.

Кудлат босой вышел на кухню, сухо чиркнув спичкой, закурил. С прежним остервенением напирал ветер. «И век мой как ничто перед Тобою». Ничто он и передо мной самим.

Мартын Листоног отложил записную книжку и, сунув за ухо карандаш, опять подумал, что пора ехать в Колпашево.

Красноватый огонёк метался в темноте. «Вот и вся недолгая, — крутилось у Афанасия. — Что жил, что нет...» Он вдруг представил, как завтра, перекрестившись, жена принесёт ему нескладные извинения, как пробормочет по телефону вдове: «И Афоня соболезнает», будто умер её друг, а не его — а потом придут похороны с их неловкими речами, натянутыми улыбками и водкой, позволяющей забыть чудовищную безобразность жизни. А потом и это пройдёт. Афанасий до боли сжал кулаки, едва не обжегшись окурком. И кто нас заставляет делать не то, быть не с теми? Он вдруг вспомнил, как в Афганистане Сергей соскакивал с брони горящего танка, увлекая за собой отделение, как делился на привалах сухарями и пускал по кругу припрятанный в портянке жирный «бычок».

О, какими были б мы счастливыми, если б нас убили в той войне!

Мартын Листоног зачеркнул написанное. Стучала электричка, за окном плыли деревни, а машинист объявлял станции, среди которых не было Колпашева.

И Мартын подумал, что опять едет не в ту сторону.

Выскочившая из настенных часов кукушка трижды прокуковала над Афанасием. «Детей нет, — думал он, прислонившись через кулак к черневшему окну, — любовь прошла, а жить осталось меньше шага...» Глянув в зеркало, он увидел, как стареет в сложившемся быту, как терпит удушливую хватку вещей, которую не разорвать. «И ничего не изменится, — тикали часы, — ничего не изменится...»

«Да разве ж Сергею хуже? — уперев в стол локти, размышлял Кудлат. — Сдёрнуть с занавески шнурок, приладить табуретку...»

Но нет, слишком глубоко засела привычка жить.

Мартын Листоног опять зачеркнул абзац и начал с красной строки.

Предрассветный сумрак уже лёг серыми клочьями. Как и ко всему, Кудлат отнёсся к последнему делу своей жизни с неторопливой основательностью — сгорбившись на подоконнике, примерился к балконным перилам, вперившись в расстилавшуюся под ним бездну.

Захлопнув книжку, Мартын вышел в тамбур. Поезд, как в туннеле, мчался мимо длинющего дощатого забора, на котором огромными буквами на расстоянии голоса одна от другой было выведено: «Счастье = здоровье + короткий ум!» Добравшись до восклицательного знака, Листоног хмыкнул: «На земле никто не доживает до ума, здесь из него выживают».

Мартын Листоног живёт в первый век Консумации. С женщиной, которую не любит. В городе, который ненавидит. По утрам он здороваётся с соседями, имён которых не может запомнить, называя их про себя Кудыкин, Нудыкин и Тудыкин. Он догадывается, что они ему платят тем же, зубоскаля за спиной: «Мартын, покажи х.. за алтын!» Знакомых у него множество. А друзей нет. Иногда ему кажется, что он пережил Третью Мировую, оставившую после себя лишь мужчин в цветастых галстуках и женщин с упрямо сжатыми губами, которые всегда уверены, что их авто спешат, куда нужно.

Мгла свила на небе гигантское гнездо, и ранние всполохи, предвещавшие зарю, были как вывалившиеся птенцы. Афанасий Кудлат спал за столом, уперев щёку в скрещенные руки, и сквозь сон чувствовал, как вечная ночь давит на него тяжестью Млечного Пути.

Листоног — журналист. Он мотается по свету в поисках новостей, которые интересуют всех, кроме него. Он бы давно бросил своё занятие, но километры кишок звенят внутри, а жена постоянно твердит, что он сгубил ей жизнь.

«Обстоятельства сильнее нас, — говорит ему главный редактор, поглаживая округлый живот, — кто не приспособился — я не виноват...»

В такие мгновенья Мартын думает, что люди, как поезда, имеют станцию назначения, а его поезд давно сбился с пути, словно какой-то нерадивый стрелочник перевёл его в тупик.

Осень заставляла ломать язык о месяцы с «брь», когда Афанасий Кудлат ушёл из дома. Его жена подозревала — завербовался в Чечню. «Хорошо жили, — оправдывалась она перед приезжим журналистом. — Дачу купили, машину...» Утопая в кресле, Мартын быстро записывал её слова и думал, что они столько же говорят о Кудлате, сколько надпись в туалете — об авторе.

«Товарищ у него умер...»

Мартын понимающе кивнул.

«А теперь, небось, мыкается... — сквозь слёзы причитала жена. — И чего ему не хватало?»

Окинув взглядом мягкую мебель, Мартын опять кивнул.

А когда возвращался, вспоминал домик с резным палисадом и всё больше хмурился, сдвигая под стук колёс редкие брови: ему казалось, что и поезд Кудлата следовал чужому расписанию, что и его пытались поставить на запасной путь.

«Эволюция не терпит динозавров, — цокают вокруг языками, будто гроб заколачивают, — эволюция не терпит динозавров...»

А однажды Мартын увидел место своего назначения. Он понял это сразу, едва взглянул на карту, как ребёнок понимает, что небо — это небо, а мать — это мать.

«КОЛПАШЕВО: населения тридцать тысяч, рыбный и охотничий промыслы, пять церквей, маслобойня, кожевенный завод».

Справочник был потрёпанный, в нём застыл позапрошлый век, а время не стоит на месте, шарахаясь, как полумный, от собственной тени.

«Но только не в Колпашево», — качает головой Мартын.

В эпоху Консумации Моцарт пишет музыку для «мобильных», а Шекспира узнают по слоганам. «Потребитель потребляет потребителя», — бормочет скороговоркой Мартын, когда занимается с женой шопингом. Он воротит нос от покупок, но послушно несёт тяжёлые сумки. А недавно ему приснился Достоевский — накануне он читал его «Игрока» — который улыбался в рекламном ролике. Ролик крутили в интернете, и там был электронный адрес. «Умереть, значит стать виртуальным», — решил Мартын. И щёлкнул «мышью»:

— Фёдор Михайлович?

— Ты чё, прикалываешь? — ответили ему.

— А ты кто?

— Конь в пальто! Казино «Достоевский»!

И Мартын проснулся в холодном поту.

По вечерам к Листоногам приходят гости. Пьют чай с вареньем, говорят о карьере, а, случается, разводят философию.

— Опасно быть лучше мира, — косится жена на темнеющее в углу Распятие. — Один уже попробовал...

— Мир, как колесо, движется серединой, — прихлёбывают из блюдца гости, — а тех, кто лезет вперёд — давит...

— Зато в Колпашево всё по-другому, — закусив губу, начинает тогда Мартын. И обводит вокруг рукой: — Там всего этого нет...

Гости смущенно смолкают, а покрасневшая жена сильнее звякает ложкой.

Но Мартын гнёт своё:

— Я туда часто навещаюсь, в последний раз меня даже оставляли...

— Ну и что же ты? — кашляет кто-то в кулак.

— Не могу же я всё бросить...

Жена вздыхает, она знает, что муж врёт, но уличать его стесняется. Переглянувшись, гости берутся за шляпы, жена их не удерживает, провожая до выщербленных ступенек.

«Стыдно, Мартын...» — говорит она, вернувшись, и он видит, как накопленная усталость стекает по её морщинам.

Боевой офицер Афанасий Кудлат так и не нашёлся. Мартын разместил о нём крохотную заметку, совсем не похожую на ту, что писал в поезде.

— А может, от бабы сбежал? — просматривая её, хохотнул главный редактор.

Вокруг засмеялись. Нацепил улыбку и Мартын, но в глубине ему хотелось вклеить пощёчину. Он стал смотреть по сторонам. «Выбор есть всегда!» — наткнулся он на плакат над редакторским креслом. «Ерунда, — подумалось ему, — выбора никогда нет...»

Первым делом Мартын теперь косится собеседнику на руку. И обычно находит то, что ищет, под ремешком с дорогими часами или золотым браслетом. Это татуировка: «Счастье = здоровье + короткий ум!», которая наколена симпатическими чернилами, проступающими под его взглядом. Толкаясь в коридорах, он часто слышит также, что мимикрия заложена в самой природе, что всё живое стремится дышать как можно дольше.

«Дарвинизм, — прикрыв глаза, мурлычет редактор. — Против науки не попрёшь...»

«Хорошо, что все умрут», — шепчет тогда Мартын.

А с некоторых пор его окружили говорящие вещи. «Пошлость!» — не выдерживал телевизор. «Глупость!» — стонали газеты. Пытаясь отгородиться, Мартын затыкал уши, обнимая себя руками крест-накрест, но вещи пробивали его тишину.

Тогда он вглядывался в себя.

Но видел там пустоту.

И всё чаще путал услышанное.

Раз он снял трубку.

«Мой-то совсем спятил, — жаловалась подруге жена. — С ним даже выйти стыдно... Будешь вечером у Пузацких?»

А Мартыну слышалось: «Говорят, Джордано Бруно на костре сожгли, а я трусики новые купила...»

И он швырнул трубку, как змею.

Капитан Афанасий Кудлат стиснул зубы. Бой обещал быть жарким. Прячась за скалами, боевики перекрикивались на своём гортанном языке, вяло постреливая. «Усыпляют», — скривился капитан, крепче сжав автомат. Вчера их окружили, и сегодня он остался один — истекать кровью за валуном. Перед ним валялись мёртвые — не меньше десятка, — и плен ему не грозил. Чтобы не видеть ненавистные горы, Афанасий на мгновенье прикрыв вспотевшие глаза и вдруг вспомнил ту ночь, когда узнал о смерти Сергея. «Вот и я прибыл на станцию назначения», — подумал он и не заметил, как умер. Короткая очередь прошла его, оставив на спине бурые пятна. В последнее мгновенье он перевернулся и теперь смотрел широко открытыми глазами в голубое бездонное небо.

«Сдох, собака!» — пнул обмякшее тело бородатый горец.

«Прекрасная смерть!» — послышалось Мартыну.

Погода была скверная. Глядя под ноги, Мартын шёл по мокрому тротуару и вспоминал, как давным-давно, когда его за руку водили в школу и стригли под горшок, оставался один. Родители задерживались, и, ожидая их у окна под самой крышей, он рассматривал прохожих. В тот день моросил дождь, улица была пустынной, и только одинокая фигура в длинном, до пят, плаще, не разбирая луж, медленно брела под фонарями. Тогда, ребёнком, Мартыну на мгновение показалось, что он видит своё будущее, что это он сам мокнет под свинцовым небом, подняв воротник и уткнув нос в шерстяное кашне. Вспомнив тот день, Листоног поднял глаза, уже зная, что увидит в окне под самой крышей.

Прижавшись лбом к стеклу, там стоял стриженный под горшок мальчик.

Ускорив шаг, Мартын поднялся через ступеньку по выщербленной лестнице. Он вдруг понял, что и все только прикидываются счастливыми, делая вид, что бесконечно довольны жизнью, а в глубине мечтают о Колпашево. «Но всем места не хватит!» — испугался Мартын. «А разве ты не уступишь?» — покосились на него соседи. Ему сделалось неловко. «Нашёл, тоже, раёк...» — надулся Кудыкин. «И очень надо...» — отмахнулся Нудыкин. Гремя ключами, Мартын топтался перед дверью, слушая эхо на пустой лестничной клетке, и не мог понять, вышел ли он из квартиры или только что пришёл. Он чувствовал себя глубоко больным, разбитым, как старый, списанный в утиль паровоз, но верил, что стоит добраться до своей станции, как сразу поправится.

И однажды собрал чемодан. «Скатертью дорога!» — выйдя на лестничную клетку, кричала жена, покрываясь

красными пятнами. «Эх, Листоног-глистоног, далеко ли уползёшь?» — уперев руки в бока, провожали его злыми взглядами Кудыкин и Тудыкин. Мартын не оборачивался, он был уже за тыщу вёрст, и ничто не могло его остановить. Он представлял, как едет домой, как поезд увозит его всё дальше, спеша на станцию своего назначения.

Мартын Листоног сидит в сумасшедшем доме. По утрам санитары срывают приклепленный к двери листок, который прячет номер его палаты, но к вечеру тот появляется вновь. Детским, неровным почерком на нём выведено:

«КОЛПАШЕВО»

ГЕНИЙ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

Если в стадиях эмбриона повторяется эволюция человека, то в судьбе Максима Шидолги повторилась история литературы.

Едва научившись читать, когда другие складывают слога, Шидолга складывал гекзаметры. Овладев грамотой, он дописывал вставные главы к «Илиаде» и «Одиссее», по его признанию легче допуская подобное насилие. В поэме Шидолги Одиссей сражался со своими взбунтовавшимися тенями, с двойниками, которых насылали на него злые боги, с волшебниками, вновь отправлявшими его на край света, он спускался, подобно Гераклу и апокрифическому Христу, в царство мёртвых и бесстрашно бросался на встречу опасностям, которые рисовало ему детское воображение автора. К тринадцати годам за Шидолгой числился десяток «греческих» трагедий и комедийных пьес. Отличая старый античный театр от нового, он прошёл в них путь от Гесиода до Еврипида и от Софокла до Плавта. Голос его героев звучал всё пронзительнее, а хор всё громче оплакивал их жребий, их злополучную судьбу, в которой Шидолга предугадывал свою.

Несоответствие времени делало его пьесы пародией, хотя кроились они по строгому лекалу древних мастеров.

Матвей Лизогуб, учитель: «Я помню, как, забившись на заднюю парту, Максим выковыривал из булки изюм

и также легко присваивал литературные “изюминки”. Когда темой домашнего сочинения было классическое произведение, он приносил его слепок...»

К выпускным экзаменам Шидолга написал несколько «византийских» житий, стал автором «Декамерона» и, вернувшись к истокам Возрождения, приступил к «Божественной комедии». Он проявился в ней, как стихийный бунтарь. Иерархией его ада стала опрокинутая социальная лестница. Первый ярус занимают лживые газетчики, этажом ниже томятся мелкие чиновники, от которых Шидолга к своему возрасту уже успел натерпеться, и, наконец, кучка политиков окружает в ледяном доме сильных мира сего. День за днём читают они бесконечный список своих грехов, но их сердцам неведомо раскаяние. Мир измельчал, и вместо великих тиранов ад Шидолги венчают мелкие греховодники. «И станут первые последними», — начертано на его вратах.

Савелий Болюк, врач: «Во время обследования я неожиданно спросил: “Какие картины ты видишь во сне?” — “Только слова”, — ответил он. Я был поражён...»

Попирая словами слова, Шидолга творил мировую литературу, его трудолюбие не вмещало двадцать четыре часа, ему нужно было родиться муравьём или пчелой. С исключительным терпением он высиживал чужие яйца, которые подбрасывала ему кукушка-история. Из-под его пера, как под копирку, выходили скандинавские саги, арабские сказки «Тысячи и одной ночи», песни финского эпоса и мудрости китайских притч. Шекспира он переварил за месяц, открыв его главную тему — борьбу за власть. «И “Гамлет” — лишь удачное переложение исландской саги», — оправдывал он своего «Гамлета»,

продолжившего череду датских принцев. Расин, Бомарше и напудренная, как парик, эпоха классицизма, которую Шидолга называл «надуманной античностью», отразились в цикле «Просвещённая Европа». Больших усилий потребовали дневники Казановы, подразумевавшие личное участие, но спустя некоторое время он справился и с ними.

«Его всезнайство было невыносимым, — говорит Анатолий Фердуль, университетский товарищ. — О чём бы ни шла речь, он отделялся цитатами. На защиту его диплома никто из сокурсников не пришёл...»*

Не вставая из-за стола, Куприн сочинил на спор три новеллы, Чехов написал рассказ за полчаса, примеры литературной плодовитости явили Дюма и Бальзак. Максим Шидолга превзошёл их. Его способности были чудовищны. Стоило ему прочитать новый роман, он брался за перо, из-под которого появлялся близнец — ни один литературный эксперт не смог бы отличить его апокриф.

Наталья Косинская, приятельница: «Мы познакомились в университетской библиотеке, нам обоим понадобился редкий перевод “Счастливого крестьянина” Мариво. Экземпляр был единственным, и я предложила читать его вместе. “Это всё равно, что есть с одной ложки”, — ответил он, предложив уступить ему книгу на сутки. В следующую встречу он показал её блестящую компиляцию...»

* Работа Шидолги носила длинное название: «Влияние фольклорного “Романа о лисе” (оригинальный перевод которого со старофранцузского был сделан им самим) на древнерусскую литературу». (Прим. авт.)

У него не было черновиков, он не делал набросков. Он писал сразу набело, мелким, как бисер, почерком, не отрывая руки от бумаги.

Анатолий Фердуль, однокурсник: «Среди студентов-филологов было принято делиться едва созревшими замыслами будущих работ. Однако Максима старательно избегали: он готов был сглазить любое начинание, воплотив его гораздо быстрее. Многие испытывали суеверный ужас перед его способностью, считали её дьявольской...»

Слывя мизантропом, Шидолга наживал врагов с той же скоростью, с какой терял друзей. К тридцати он остался с двумя вечно линявшим кошками и горбуньей-сестрой. «Максим такой беспомощный...» — жаловалась она, подавая чай редким гостям. Но втайне радовалась — младший брат заменил ей сына. Жили они замкнуто, нигде не бывая. Говорят, затворничество — это смерть в расщепку, но Шидолгу не душила скудость впечатлений. «Чем больше узнаёшь мир, тем выше ценишь четыре стены», — говорил он. Однако иногда вздыхал: «Я тащу за собой душу, как упирающегося щенка...» К сорока он написал несколько «французских» романов, ставших бы модными в XIX столетии, и подступил к русской классике. Он едва не сломал зубы. Десять лет он корпел над произведением, которое объединило бы художественное морализаторство Толстого с богоискательством Достоевского, вживался в образы купцов, подьячих, дворян, петербургских барышень и московских помещиков. Много раз он в отчаянии бросал работу, но, в конце концов, его настойчивость победила.

Наталья Косинская: «Максим делал мне предложение... Я обещала подумать. Стать женой монастырского

переписчика? Помогать ему в поисках утраченного времени? И я отказала...»

Постепенно его комната, которую он почти не покидал, превращалась в библиотеку одного автора. От скопившейся пыли он кашлял, желтевшие страницы его первых рукописей разъедал книжный жучок, Шидолга похудел, сгорбился, в рваном, замызганном халате он стал похож на птицу.

«Раз мы столкнулись на улице, — рассказывает Савелий Болюк, врач. — Шидолга был бледен... “Представьте, — тербил он жидкую бородку, — сегодня мне снилось, будто я сочиняю пьесу, и мне никак не даётся в ней одно место. Тогда я решаю его перескочить. Потом, насвистывая, я спускаюсь за сигаретами, лестница крутая, и я осторожно ступаю на каждую ступеньку. И вдруг одну пропускаю. Возвратившись, я нарочно пересчитываю ступеньки, но опять пропускаю ту же самую. Разозлившись, я пробую опять и опять... С тем же успехом. Тогда я понимаю, что пьеса и моя жизнь составляют одно целое. Я сажусь за стол и в один приём заканчиваю пьесу, в пропущенном месте убивая всех героев... С пьесой подмышкой я выхожу на лестницу, легко ступаю на ту ступеньку, как вдруг нога подворачивается, я лечу вниз и — просыпаюсь...” Шидолга по-собачьи заглянул в глаза. “Как вы думаете, — дёргал он мой рукав, — тот, кто пишет для меня пьесу, в момент моей смерти ломает себе ногу?”

“Сумасшедший!” — подумал я, сухо откланявшись».

По воскресеньям горбатая сестра Шидолги ходила в церковь, мелко крестилась у чудотворных икон, и по возвращении они долго спорили приглушёнными голосами, точно их могли подслушать свернувшиеся в углу кошки.

«Максим скептик, — с обидой рассказывала потом сестра знакомым прихожанкам. — Он считает, что Богу неведомо поклонение, что с равным успехом можно молиться жужжащей на окне мухе...»

Каждое время диктует художнику стиль, устанавливает рамки, от которых Максим Шидолга был свободен. Владея приёмами разных эпох, он избежал клетки своего времени, надеясь стать опровержением вечности. «Его дар граничил с божественным, — говорит Анатолий Фердуль, — но мне кажется, он ни во что не ставил своё ремесло. Разоблачая его, он хотел дать пощёчину литературе, шедевры которой переставали существовать, созданные одним человеком...» «Тщеславие Максима было особым, — вторит Матвей Лизогуб, школьный учитель. — Он претендовал стать опровержением словесности, но вошел в её историю на правах старательного ученика...»

Литературная среда ревниво относится к тем, кто покушается на её авторитеты. Шидолгу не публиковали, его упражнения, слишком экзотичные, чтобы нравиться, критика считала мертворождёнными. Его это ни смущало. Он писал в стол, стараясь доказать своё могущество, уверенный, что и Бог сотворил мир с этой же целью.

«Мне кажется, он ненавидел своё занятие, — говорит Анатолий Фердуль. — Пишут всегда для современников, любой опыт в новых обстоятельствах — как бабушкин наряд... Одно дело “Похвала глупости” Эразма, другое — Максима Шидолги. Так в XVII главе они оба пишут: “В глупости женщины — высшее блаженство мужчины”. Но эту невинную сентенцию шестнадцатого века в двадцать первом уже не пропустит феминистская цензура...»

В пятьдесят Шидолга сказал: «Теперь любой мальчишка похож на мои старые фотографии больше, чем я...» Юбилей он отметил за письменным столом, склонив голову, выводя аккуратным почерком ровные строчки. И только к вечеру, разглаживая седые виски, заметил: «Одиночество, как колодец, — чем глубже погружаешься, тем ближе дно...»

Когда умерла сестра, он дописывал последний том «Тихого Дона» и после похорон сразу сел за стол, добавив несколько трагических сцен.

Пробиваясь, как рыба, из глубины, он приблизился, наконец, к современности. Её литературные течения он освоил совсем легко, после того, как поставил точку в своём «постмодернистском» романе.

«И стоило так долго идти в гору, чтобы потом скатиться?» — вынес он приговор на его полях.

Старея, он всё чаще спускался во двор и, сидя на лавочке, беспокойно вглядывался в лица, точно ожидая встретить того худощавого, смуглого юношу, который выходил из его подъезда много лет назад.

Литературный бог, червь в книжном храме, Шидолга хотел разрушить его изнутри, перевернуть его архив, уничтожить, растоптать его идолов, он собирался обезличить творцов, обесценив их творения.

Его труд пропал даром, оставшись за закрытой дверью.

Всеми покинутый, он скончался на своей кровати, которой не изменял всю жизнь, посреди комнаты с разбросанными рукописями, громоздившимися на шкафах, подпиравшими потолок...

Вспоминает Матвей Лизогуб: «Я учил, что в литературе, как в семейной жизни, понравиться сразу — полдела, а вот не опротиветь через пару лет — искусство. “Книга — это любовь с первого взгляда, — зевал на задней парте Максим. — Когда она проходит — остаются слова...”»

«Слова, слова...» — с презрением говорит Шекспир. «Вылетевшие из чужих гнёзд слова, — вторит ему Борхес, — изувеченные чужие слова, — вот она жалкая милостыня, брошенная ушедшими мгновениями и веками...»

Недоверие к словам Максим Шидолга выразил по-своему. Он сделал это чувство осязаемым, оставив музей всемирной литературы, создав огромное множество чужих романов, так и не написав своего.



Послесловие

Всё время, пока рукопись готовилась к изданию, в голове у меня крутилась фраза об одиночестве, в котором нет правды, и об истине, которая там, где двое. Перебирая героев, я гадал, кому она могла принадлежать? И, только перечитав книгу, понял — любому.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
АВАТАРА КЛОУНА	4
РЕЖИССЁР	15
ЦЫГАНСКИЙ РОМАН	38
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ДИОГЕНА	47
РОДСТВЕННИК	54
ЗОЛОТО, ЛАДАН И СМИРНА	61
ПОМЕЩИК ДЫДЫШ-БОЛТЯНСКИЙ ЧИТАЕТ БОРХЕСА	72
ЧИСЛЕННИК	78
ИСТОРИЯ РАСПЯТОГО ПО ПРАВУЮ РУКУ	95
ЛЮБОВЬ НА ИВРИТЕ	106
ИГНАТ И КОНДРАТ	113
ПОСМОТРИ НА БЛИЖНЕГО СВОЕГО	121
ДРУГОЙ	128
ТЫРИНС—ПРОТЫРИНС	143
ДЕВУШКА СО СТАНЦИИ СЕБЕЖ	151
ТРУДНЫЕ УРОКИ ХРИСТИАНСТВА	157
МОТЕЛЬ ЛЕТОМ	167
ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА	175
СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС ДЛЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО	185
НА МОСТУ	191

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ.	199
БРАТЬЯ ЛИФАРЬ	208
ДОЛГ	220
КРЫЛО ПЕРЕСМЕШНИКА	226
СХОДЯЩИЙСЯ РЯД	241
ПАЛАЧИ	246
СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ	252
ГЕНИЙ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ	261
ПОСЛЕСЛОВИЕ	269

Литературно-художественное издание

Зорин Иван

**Гений
вчерашнего
дня**

Рассказы

Редактор, корректор *Е.Б. Александрова*
Дизайн и вёрстка *В.В. Бебко*
Издатель *В.В. Бебко*

Подписано в печать 03.12.2009. Гарнитура TextBookC. Формат 60×90 ¹/₁₆.
Объем 17 печ. л. Тираж 1000 экз. Изд. заказ 21-09. Тип. заказ .

Частное издательство «Золотое сечение».
127591, Москва, Керамический пр-д, 77-1-87.
Тел.: +7 (495) 485-98-59, (962) 949-83-96.
E-mail: info@zs-izdat.ru. <http://www.zs-izdat.ru>.

Отпечатано в типографии: